

Роман Волков

РАССКАЗЫ

Цикл художественных рассказов, объединивший мифологическое прошлое Руси, скучную и сказочную современность, военную антиутопию и постапокалиптические видения.

СОДЕРЖАНИЕ

Двое изменяют мир

Ходить

Мал и медведь

Ночь после праздника

Прощание с солнцем

Птичка по зернышку

Внуки войны

ДВОЕ ИЗМЕНЯЮТ МИР

-1-

Только слепой или дебильный не видит, что вокруг и внутри нас пышет война. Ушли в прошлое дубины и пращи. Этот аккорд еще зазвучит в самом финале, в последнюю очередь. Нет, эта война ведется на уровне мыслей и чувств, чужими руками и деньгами.

Кто в ней участвует? Да мы сами. Наши чувства: любовь, ненависть, вера.

Какой-то смехач-борзописец придумал фразу, которую все кто ни лень теперь повторяют. Якобы русскую интеллигенцию извечно интересовали лишь два абстрактных вопроса: «Кто виноват» и «Что делать». В результате русский интеллигент, с утра до вечера размышляющий над ничем не значащими фразами, выглядит полным дебилом, достойным лишь мудрого осуждения: «Эй! Интеллигент, от слова телега!» или «Эй, куда прешь, а еще очки нацепил, интеллигент сраный!»

Интеллигент – человек, который думает и читает. Даже если не брать в расчет творение Герцена, почему всегда «Кто виноват»? В чем?

Потому что всегда было плохо. И если человек в состоянии шерудить своими мозговыми крутилками, то он догадается, кто же виноват. О! Враги! Враги во всем виноваты! А даже если и не враг, а ты во всем виноват (это для самых мыслящих), то почему? Потому что враги мешают. А враг, он не прост. Он может, подобно колючепроволочной змее, притвориться пушистым котиком, или любимой девушкой. Или любимым дедушкой. Но чаще всего враг подтачивает своей блевотиной самое святое, что есть у русского человека – Идею.

Ортодоксальное (это так правильно называется православие) христианство сильно подточило мысли русского интеллигента. Оскорбление он кротко сморгнет, сглотнет, в худшем случае скажет: «Вы не смеете говорить со мной в таком тоне!» Если оскорбят его близких, он скажет: «Бог-то, он все видит! Попомнишь еще! Отольются кошке мышкены слезки!» Но за Идею он будет биться искренне. На нижнем уровне своей искренности он разругается с женой до развода, а на вышнем – пусть радостно разобьются стекла очков под невидимой огненной пулей! Ибо так и сказано мудрым русским священником о непримиримой битве с врагами Идеи.

Ну, а что делать, если ты видишь всю бессмысленность и грязь жизни народа, что тебя окружает? Ну и что, если ты молод? И что, если ты мало что умеешь? Но если сильны и чисты твои руки и громко бьется твое сердце? Неужели ты останешься в стороне от всех бед, в которых погряз не только твой народ и твоя семья, но и ты сам по уши?

Как звучит, а? Конечно, вы скептически хмыкаете, словно сунули вам под нос хорька. И не корите меня – писателя, мол, плохо я пишу, так не бывает! Бывает. А не верите вы не мне, смиренному летописцу! Не верите вы в то, что бывают в наше время у молодых людей чистые помыслы и сердца.

-2-

Егор Анопченко и Богдан Замятин любили свою Родину и свой народ, они ненавидели все то, что творит зло Родине и народу. Если интеллигентность зависит от образования отцов и дедов, то здесь, конечно, можно было только развести руками.

У Егора отца не было. Изначально отважного вояки не было. Мама, Алина Ивановна, всегда говорила: твой папа был летчиком и погиб на войне. Фотографий не осталось. Годом к четырнадцати парень начал сомневаться в романтической истории, но мать стояла на своем. Работала она на Калининском элеваторе дозаторщиком. Был еще дедушка, что служил в СМЕРШе и лично ликвидировал бандеровские банды. Бабушка умерла лет десять назад, от какой-то нехорошей болезни по женской части. Дедушка раньше любил вы-

пить, хотя ему запрещали, но потом уже стало совсем неотличимо, пьяный он или нет, все стало сводиться к желанию маленько повоевать. Ходил дедушка плохо и его приходилось брать подмышки и усаживать на стульчак в прихожей, относить назад на кровать или кресло, а потом выливать поганое ведро в сортир во дворе.

У Богдана же не было матери, она ушла к другому – учителю рисования, а потом вместе с ним уехала в Крым. Отец – Вадим Петрович, водитель-дальнобойщик, особенно, выпив чего-нибудь горячительного, нравоучительно намекал об этом сыну: любая баба всегда предпочтет ученого, чем шофера. Видимо, поэтому, чуть позже он и женился на учительнице – доброй и работающей тете Кате (мамой ее называть все равно как-то не получалось). Был у Богдана также брат, не побоявшийся пойти по стезе науки. Ныне он преподавал «Детали машин» в сельхозинституте.

Если же говорить о собственном образовании – то учились оба парня, разумеется, не там, где хотели, а там, куда их смогли устроить. Егор – в педагогическом на истфаке, а Богдан – у брата, на факультете механизации сельского хозяйства. Хотя планы у них были совсем другие и души их лежали в совершенно иных мирах. Егор обладал четким математическим мышлением и хотел стать программистом, (только сначала надо было купить компьютер). Богдан хотел стать писателем и уже творил небольшие рассказы. Учились оба на вторых курсах, им сильно не нравилось, но так уж у нас заведено! Трудно сказать, есть ли у нас хоть один человек, находящийся на своем месте, радующийся этому и понимающий, что именно для этого он создан, что за это счастье ему еще и платят.

С чего все началось? Много было факторов. Прежде всего с вопросов. Почему? И в этом пытливым желанием ответить на эти каверзные загадки оба парня превосходили многих умников, ничего не имеющих, кроме пыльных дипломных знаний.

Богдан и Егор искали Бога и хотели изменить мир.

-3-

Христианство охватило мир в X веке нашей эры. До этого новообращенные народы верили в своих богов никак не меньше семи тысяч лет, а проверили очень быстро – за пару веков. Остались, конечно, забавные отголоски прошлой веры: переделанные праздники, боги, превращенные в святых, да и церкви встали на место разрушенных капищ, словно тех и не было.

Традиции старые остались, а веры уже не было. Верить люди потихоньку стали во Христа. Хотя испоконные обычаи по привычке блюли и старались не нарушать, постепенно вкладывая в них смысл новой, совсем иной веры. Солнечные Купальские праздники превратились в день памяти новгородской по-

бирушки Аграфены-купальницы и иорданского бомжа Иоанна Предтечи, и даже священники переняли подобие бородатых и волосатых служителей Велеса. И вскоре позабыли даже имена богов, которым клали требы и резали горла рабам, помнили только «идолищ да болванов», и недавних единоверцев называли обидно: поганые или язычники.

Но вот пришедшие в Россию большевики так же оперативно разбили божества очередной веры. Так же, как их угрюмые предшественники-черноризники, сжигавшие волхвов и крошившие в щепу кумирни, чернявые юноши в кожанках сносили головки храмам, и шпиговали пулями священников. Только здесь на сей раз все было организовано намного лучше, на основании тысячелетнего опыта и мудрости стремительного развития. Другими методами и с новыми возможностями. Стрелы агитации били прямо в душу. В ход пошли книги, лекторы, диспуты, труды мировых философов-атеистов.

И народ быстро перестал верить Церкви, к которой у него были давние счёты, потом в Христа, а заодно и в Бога вообще. Опять же, остались обычаи, обряды и суеверия, как с ними не боролись. А потом поняли, что незачем с ними бороться, ибо народ позабыл, зачем он все это делает. Вера, моральные устои и этические законы были сорваны и забыты. Да и жить без них оказалось намного проще! Даже обряды уцелели только веселые и интересные, помогающие расписать унылую серость будней. Одна из главных основ православия – милосердие – постепенно уходила в пыль. Даже если кто-то и бормотал молитвы, он совсем не вкладывал в них того, чего следовало.

Но хитрые заморские разведчики не зря ели свой хлеб. Новая вера с партсобраниями, демонстрациями, субботниками и идолами вождей рухнула, как глиняный кувшин, перед тем, что предложили народу: жажда наживы, пьянство, блуд, педерастия, лесбис, наркомания. Попы и чиновники, вещавшие о морали, смотрелись наивно и жалко перед необыкновенной крылатостью сногшибательного прихода, перед поревом с голенькой красавицей, ее упругими ягодицами, что ты мнешь в своих ладонях! Разве на мораль можно купить роскошь!

Ну, а когда после краха советской власти, народу дали волю: молись кому хочешь, народ и ударился во все тяжкие. И Мария Дэви Христос, и оригинальный Христос, и Свидетели Иеговы, и буддизм, и неоязычество, и даже, наоборот, сатанизм! Но вера настоящая была только у немногих фанатиков. У основной массы народа она была убита. Да и мозги народа, которые столько лет искусные волхвы, попы, агитпропщики, и PR-технологи так успешно конопатили, потихоньку стали давать сбой.

И как ни стараются мудрые человеколюбцы спасти наш народ, сколь ни настроят они прекрасных храмов и не раздарят Библий – мораль общества, давно и прочно стертая в порошок, от этого не улучшится.

Не вернется весь народ к православной вере, точно так же, как и не вспомнил он своих старых богов. Отдельные люди, группы людей – да. Они и будут искренне верить в Христа, так же как другие их русские сородичи почему-то искренне славят Кришну.

Но целой страной весь народ к православию, да и к любой другой единой вере, не вернется. Были имперские православные русскими, а где сейчас эта нация? Пала она настолько ниже евреев – рабов египетских, вскормивших Моисея, что даже проклинать врагов своих не может. Живут русские, подобно бабочке в банке, и бесшумно справляют свои жизненные процессы.

-4-

Сперва Егор и Богдан пришли к неприятию христианства.

Калинино всегда было спокойным селом. Здесь сохранились останки барской усадьбы и несколько каменных купеческих домиков. Калининский, а тогда – Краснокустовский – купчина, вчерашний крепостной, копил, торговал, обманывал... Потом горько становилось: не по Писанию живу! Покупал на сутки питейный дом и поил всех, кто туда заходил. Прочищал фибры души, омывал грех водкой и пьяными, искренними слезами. Утром рассол, квас с хреном, и – в церковь, совесть поверять. И опять... Но построили на нечистые деньги больницу и школу, что действуют и поныне.

Наши традиции в деревнях на самом деле не были погублены большевиками окончательно. Партийных здесь было немного, правда, единственную церквушку как могли разнесли, оставив утлый скелет из обгрызенного красного кирпича. Ну, а так же обгрызть обычаи не вышло. Люди по-прежнему пекли куличи на Пасху, купались в проруби на Крещение и колядовали на Рождество. Кроме того, глубоко в лесу, где когда-то в землянке жил аскет-старец, били святые ключи. И когда кого-то одолевала болезнь, не было лучшего лекарства, как прочитав молитву, три раза окунуться в обжигающий лед родников.

Но вера стала уходить. Как-то по-другому стали сутулиться плечи крестьян. Не помогло даже то, что директор элеватора Кутяпин, сам живший в Калинино, с посильной помощью односельчан, выстроил прекрасный деревянный храм, как раз напротив домов Егора и Богдана. Из епархии выслали священника отца Даниила. Казалось бы, вот оно – спасенье! Что еще нужно жителям трех окрестных деревенок? Ходи в церковь, крести лоб – да и все хорошо будет, как раньше! Для окончательного поднятия духа крестьян тот же Кутяпин построил неподалеку от храма безымянный кабаk. Здесь, как желал Кутяпин, народ мог расслабляться после трудовых будней, смотреть телевизор и общаться культурно, а не по своим скотским обычаям.

Для окончательной спайки народного счастья кабак был открыт с такой же помпезностью, как и храм, и даже отец Даниил освятил его с кроткой и мудрой речью.

Вскоре храм начал протекать и гнить.

Самые светлые и чинные чувства, что должны были родить в людях такие новшества, извратились в еще более подлые, чем раньше. Да, народ стал ходить в церковь, по праздникам ягодке было негде упасть. Стало тесно и в кабаке, тем более, что завсегда там стал сам отец Даниил. Разумеется, не он был виной тому, что на Рождество три восьмиклассницы напились самогона, повздорили в клубе из-за парня и вышли на улицу пошептаться. Двое повалили третью на землю, забили ее насмерть острыми каблучками, швырнули кровавую тушку в болото, чуть покрытое тонкой ледяной пленкой, доплясали праздничную дискотеку и пошли в храм встречать Рождество Христово.

Священник и не знал, что вернувшийся из патруля сержант милиции Тянькин избил до смерти своего отца за то, что тот отказался дать ему очередной кухоль самогона, застрелил из дробовика соседа, а потом и сам улетел в небытие, наверное, такое же кипящее, как и сгоревшая баня.

Богдан и Егор были воспитаны в годы краха пионерии и успели выкрасить помадой губки статуе Володи Ульянова и прожечь сигаретой красный галстук. Но также они и не забыли еще смешки и издевательства над одноклассницей Хриткиной, носившей на шее вместе с ключом потертый алюминиевый крестик, и помнили на память стихи «церковь – божий храм, сюда старухи приходят по утрам, придумали картинку, назвали – бог, и ждут, чтоб этот бог им помог». Когда народу дали волю, Богдан и Егор, крещеные, как и все односельчане, ходили в церковь, причащались. Знали пару молитв, и на Паску (как выговаривали калининцы), дарили друг другу крашеные в луковом отваре яйца и говорили «Христос воскрес – воистину воскрес». Да только чувствовали, что душе чего-то не хватает. А даже если душа и находила какое-то удовлетворение, то упрямый разум, не засоренный с младенчества догматами веры, спорил с ней и создавал смуту.

Да, они читали Святое Писание и знали, что Бог – это любовь, и знали, что Христос был распят за наши грехи. Но со временем сомнение спрашивало: как же Он был распят за то, что пьяный Леха Гунявый на венчании наблевал на алтарь? Ведь официальной причиной казни было богохульство одного только Иисуса и лишь его неподчинение иудейским законам, а вовсе не то, что Саня Бритый по пьяни зарезал свою тещу – нянечку детсада, а после и сам утонул в ванне.

И как это: блаженные психотики, целомудренные кастраты будут в раю качаться на облаках, наяривать на арфах и намахивать отросшими крылышками, а все, живущие нормальной жизнью грешники будут жариться на адских сковородках в пузырящихся шкварках и рогатые черти будут тыкать им в зад вилами и поливать кетчупом. На этих китах и держался страх перед Господом. Конечно, средневековый холоп мог утрашиться хвостатых демонов и, измученный непосильной барщиной, мог только и мечтать о вечном бренчаньи на струнных. Но современный человек, уставший от постоянных телемонстров и ангельских попсарей-арфистов, которому десять лет просидеть на вахтерской вертушке, ничего не делая – только хмыкнет. Для него бесконечное безделье на облаке – хуже самой смерти!

Конечно, Богдан и Егор спрашивали о церковных несостыковках у родителей, но те лишь отмахивались (не могли ответить)! Отец Богдана, поикивая, отвечал:

- Это, братаны, не вашего ума дело. Кто сомневается – тот не верует. Все за тысячу лет уже передумали, в книжках написали. Читайте!

Они читали книги, но в одних было слюнявое лизоблюдство, в других – схоластическая заумь, а в настоящих Писаниях – грязный блуд и человекененавистничество.

Егоровская мама говорила:

- Вы, ребята, как же все понять-то сможете? Люди учатся в семинариях там, в академиях духовных. Вы с батюшкой поговорите, он вам все и расскажет.

-5-

Но этот совет был совсем неудачен. Отец Даниил погряз во грехе пианства окончательно и навеки. На Тюринский самогон с щедрой добавкой димедрола и «Юпи» требовались деньги, а их не хватало. Зарабатывать приходилось как только можно: Божия благодать стоила дешево, да покупатели в очередь не становились.

Парней в своей сторожке он встретил с охмелелой радостью, угостил чаем. И когда они, наконец, задали ему вопросы о православной вере, Даниил растерялся.

- Сейчас-сейчас, посмотрим... – он отдернул занавеску, которая прикрывала самодельную этажерку. Там стояли и старые потрепанные книги, и толстые тетрадки, и хилые истертые блокноты. Священник долго перелистывал страницы, исписанные одинаковыми волнообразными буквами и что-то бормотал. – Это я в семинарии еще писал, в семинарии.

- А вот еще, – добавил Богдан, – я читал в одной газете, что денег на строительство и содержание храма Христа-Спасителя хватило бы на то, чтобы поставить на ноги пятнадцать тысяч сирот?

- Да мало ли что в газетах пишут! – испуганно отвечал отец Даниил, – вы не верьте газетам! От Дьявола все это! Я вот ни газет не читаю, ни телевизор не смотрю, и ничего! Вот еще скажете, что диаконы на Мерседесах разъезжают! Ну, и где он у меня? Даже на велосипед не накопил!

Хотя было ясно, что храм впрямь дороже бюджета всей Пензенской области, а некоторые диаконы не только ездят на «мерсах», но и занимаются абсолютно незаконным бизнесом. Не выислав ответов в книгах, отец Даниил не смог вымучить ничего лучше, как выпустить расплывчатый облачный ответ, который, наверно, был написан на обложке семинарской тетради. Там прозвучали и мысли о том, что все сомнения от Дьявола, алчущего погубить молодые души, и что лучшее лекарство от сомнений – это молитва и пост, и были приведены в пример святые и просто великие люди, которые были искренними набожными христианами.

- А почему самоистязания святых – это подвиг, кому же от этого хорошо? Польза какая?

- Ну как почему? Это же... главный подвиг-то – это ведь – победа над собой. Ты вот попробуй на столбе пять лет простоять, чтобы в ногах черви завелись? И только молиться!

- Зачем мне? Не буду я.

- А вот люди смогли. Представляете, какая сила духа у них!

- А почему говорят «раб божий»? Я совсем не хочу быть ничьим рабом!

- Так ведь кто же мы? Ведь у тебя даже волос на голове не выпадет без Бога!

Тогда Богдан запустил руку в свой вихор, свисавший ниже бровей и, поморщившись, выдрал несколько волосков:

– Мы – не рабы, рабы – не мы.

Это окончательно решило все аспекты веры и безверия.

- Вы, вы совсем ничего не понимаете, – засуетился Даниил. – Ведь весь смысл-то именно в том, чтобы стать рабом! Как дитя малое, чтоб только уповать на Господа, на хозяина. Чтобы унизиться. Хотя это звучит как-то так, но вы поймете! Молитесь почаще, в храм ходите, и сами поймете. Вы... вы просто еще очень молодые, и когда вы поймете это, когда почувствуете, перед

вами словно пропасть откроется! И вам так легко-легко станет! Вот он я, Господи, перед тобой как на ладони, маленький, на кровати продавленной сию. Грешный, грязный. А ведь я люблю тебя, Господи. И ты меня любишь.

Выглядело это совсем не величественно. От Даниила пахло потом и перегаром, он сидел на топчане с поднятой рукой, как боярыня Морозова. На сером солдатском носке у него зияло отверстие, сквозь которое был виден желтый ноготь.

- Ведь и Иисус-то сам какой был, вспомните!

- Ну и какой? Руки даже не мыл перед едой...

- Вот то-то и оно, ребятки! То-то и оно! Именно такой наш Господь и был. И жил он с блудницами, мытарями и самыми последними грешниками. И за то мы его любим, что и сами мы такие же грешные.

- Но ведь вы должны людей уводить с пути греха, а не толкать их на него!

Тут отец Даниил склонил голову и почесал затылок, стряхивая перхоть.

- Грешен я и слаб, и паства моя – такая же. Хоть я и молюсь за нее днями и ночами...

- А толку нет, – тихонько прошептал Егор. Парни поднялись и ушли. Все начало вставать на свои места. Дома алюминиевые крестики на кожаных гайтанах были сняты с шей и отправлены в бессрочную ссылку в шкатулки, где уже пылились шпоночные рогатки, фигурки индейцев и пиратов и черно-белые порнографические карты.

Хоть парням и говорили, что священники – такие же люди, и что на том свете с них спросят в тыщу раз строже, решение все равно было принято. Егор и Богдан сфотографировали отца Даниила, пляшущего пьяным в кабаке, полуголового, в просвечивающих мокрых кальсонах на Крещении, и на заснеженной трассе у рекламного щита «Освещаю автомобили: отеч. 200 руб, иномарки – 500 руб., джипы – 800 руб.» кроткого и задумчивого. Фотографии были посланы в Областную Епархию, в Интернет и в областные газеты.

Через пару недель, как раз, когда неожиданно грянула оттепель, за отцом Даниилом приехали на черной епархиальной «Волге». Богдан и Егор стояли за автобусной остановкой и смотрели, как из машины вышел высокий священник в очках и двое в штатском. Вестники долго стучались в дверь и, когда Даниил раскрыл дверь, что-то ему сунули под нос и вступили в сени. Минут через двадцать все вышли уже вместе.

Опухший священник собрал потрепанный чемодан на колесиках, вышел из своей сторожки, долго закрывал дверь и, отшагнув, застыл некрасивым изваянием на измызанной тропинке. Зима совсем не удалась: снег падал трусливо, превращаясь в нечистую кашу еще в небесах, и выплескивался сам из себя на лысинку среди спутавшихся кудрей священника.

- Поехали, поехали, – поторопил его крепкий парень в штатском. В дешевом спортивном костюме и резиновых сапогах, с распущенными волосами, отец Даниил стал похож на спившегося художника. Он долго пытался набросить резиновую петлю на калитку, но дрожащие руки не слушались. Напоследок лопнули застёжки у чемодана и в холодную жижу вывалились расхристанные книги, веер черно-белых фотографий и сваленная в неуклюжий ком одежда. Даниил встал на колени, суетливо засовывая вещи в щербатую пасть чемодана, но тут огненный солнечный свет, отразившись от золотых крестов храма, блеснул в его замутненные очи, и вывалилось из заскорузлых рук его тряпье, и пал он на живот в лужицу, ломая хрупкий ледок, и вместе с неумелым ревом изо рта его излетали, смущаясь, облачки пара.

-6-

Так осиротела калининская земля, оставшись без пастыря. Народ не ходил в храм, закрытый на замок, недоуменно подходил к двери и уходил назад. Где-то через неделю, бывший элеваторный грузчик, временно неработающий Генка Петухов по пьяни выломал ломиком засов и радостные люди повалили в церковь. Они привычно крестились, заходили вовнутрь, кидали мелочь в короб, брали оставшиеся свечи и ставили их к иконам. Генка сидел на лавочке у алтаря и тихонько говорил:

- Вот, правильно! А то людям-то и в церкву сходить нельзя.

Участковый Ибрагимов, озадаченный подобным фактом, после работы, когда уже стемнело, пришел в пустой храм, снял фуражку и сказал Петухову, развалившемуся на лавке:

- Ну и чего натворил? Чего теперь делать? Давай сам дверь гвоздями заколачивай и домой.

- Да ты чего говоришь-то, Саныч? (Хотя Ибрагимова правильно звали все-таки Равиль Искандярович, его обрусил, да он и не сопротивлялся). Как это заколачивай? Чего народу, в церкву не ходить, что ли?

- Да я не чтоб... Все ж таки попы-то ее закрыли, им виднее...

- А это, мил человек, церква не поповская, а наша! Мы и по копеечке сбрасывались, чтоб ее заложить, и бревна таскали, а не попы твои. Вон отец-то

Данила, известно, какой поп был – zenки нальет и кадилой машет, так любой дурак сможет.

- Ну, Генка! Мне-то что! Я просто вот чего: народ-то у нас сам знаешь какой. Я боюсь, как бы не стибрили чего в церкви. А то ведь потом разбираться начнут, а виноват Ибрагимов. Я ведь сразу скажу на тебя.

- Саныч! Я здесь сам буду сидеть и глядеть, чтобы никто ничего! А если кто чего, я ему сразу! – он продемонстрировал свой корявый кулак с грубо наколотым восходом солнца и надписью ЗЛО.

- Ну ладно, Генка. Сиди. Я только в город все равно позвоню, чтоб попенка какого-нибудь завалящего выслали. А то это не дело, чтоб ты тут насиживал.

- Ну, это дело, Саныч. Позвони. А ты, мимо избы моей проходить будешь, бабе моей скажи, пожалуйста, чтоб пожрать чего прислала. А народ пусть ходит, пока попа не пришлют. Я буду здесь пост держать.

Ибрагимов собрался уходить, напялил фуражку, но вдруг вернулся.

- Я, Генка, еще один очень важный момент упустил. Ты-то у нас ведь сам товарищ ненадежный. – Для подтверждения своих слов он тыкнул в расплывшуюся наколку на временно безработном кулаке. – Как бы ты сам здесь чего не прихватизировал.

Генка только раскрыл рот, чтобы завопить, но участковый его прервал:

- Нечего, нечего! Давай-ка я коробочку эту с деньгами заберу от греха подалее.

- Да ты чо, Саныч! Я что тебе, совсем что ли без понятий, нашу церкву грабить! А если кто свечечку купить захочет?

- Не верю я вашему брату, Генка! Свечки я, пожалуй, тоже заберу. Как пришлют попа, я ему и деньги и свечки отдам.

– Да зачем же в церву-то ходить, если свечек не ставить? Просто так, что ли?

- Ты мне зубы не заговаривай. Кто не хочет ходить, пусть дома сидит. – С этими словами участковый взял ящик со свечами и денежный короб и вышел.

Услышав, как прошлепали сапоги Ибрагимова по грязной тропке, а потом с черной руганью хлопнула калитка, Генка щербато улыбнулся. Он вынул из-под церковного прилавка три десятки, которые он все же успел вынуть из ящичка двумя спичками и заныкать от чужих глаз подалее.

- Должен же мой труд как-то оплачиваться, – спросил он сам у себя и выглянул из калитки. Как раз напротив на скамейке курили Богдан и Егор, а чуть поодаль мальчишки пытались прокатиться на самодельном скейтборде – доске с колесиками от игрушечного грузовика.

- Эй, пацаны! Не в службу, а в дружбу, а? Сгоняйте к Вальке Тюриной, возьмите литрочку! – позвал ребят Генка.

- Не ходите, ребята, – сказал Егор.

- Ну, пацаны! Я вам десятку дам. А то я ж церкву сторожу. Нельзя мне пост покидать.

Все это напомнило «я дал честное слово» Гайдара. Только играть в войну среди пацанья стало не модно, так же как и понятия «честности». Мальчишки взяли деньги и побежали в сторону шинка Тюриных. Когда хлопнула церковная калитка, Егор взорвался:

- Да что ж это такое! Когда же это кончится рабство!

- Ведь все и раньше были такими же свиньями. Только сейчас, когда церковь построили, все их паскудности стали легальными. Освященными.

- Типа, что хотите, то и делайте, Бог все простит. Раньше хоть всем на все насрать было, но все равно, боялись чего-то. А сейчас – пожалуйста: ощущение греха совсем смылось. Не грешить главное, а покаяться вовремя. Свечечку поставить.

- Потому-то и живем так погано. Не понимает человек, что – хорошо, а что – плохо. Церковь эта свет людям закрыла.

Тут Богдан вскочил с лавки.

- Генка же в сторожке спит?

- Да. Вон свет горит.

- Нужно церковь спалить.

Так Богдан и Егор и решили сжечь Храм Покрова Богородицы, чтобы спасти жителей села Калинино.

Сжечь церковь на самом деле намного проще, чем кажется. С утра парни сгоняли на мотоцикле в город на самые дальние заправки и по очереди купили две больших канистры семьдесят второго бензина. В аптеке купили две пары тонких медицинских перчаток с дурацким комментарием: сестра просила. Вечером в клубе Богдан несколько раз брякнул односельчанам:

- Ну все, пацаны, сессию сдали, надо побухать маленько с Егором. Завтра вечером баньку натопим и загудим на всю ночь! Эх! – Все им завидовали и даже хотели напроситься, но Богдан не соглашался: в другой раз.

Богдановский отец поехал в Смоленск за рыбной мукой. Выехал часа в четыре утра.

В обед Егор зашел в храм, где на скамеечке развалился Генка. Село пустовало: все были на работе, а студентов, лоботрясничаящих на каникулах, было мало. Егор со скрытой, мысленной ухмылкой подсеменил к алтарю, размашисто перекрестился и спросил:

- А где свечки?

- Ибрагим забрал, – отвечал Генка. На кончике носа у него росла огромная черная бородавка, которая делала его похожим на наглого ежа.

- А когда отдаст?

- А я хер его знает. Хули, он татарин, ему по херу, что народ православный свечечку поставить не может!

- Дядя Ген, я экзамены сдал, а в церковь так и не ходил. Вот, десятку оставляю, как появятся свечи, поставь, пожалуйста, от моего имени.

То же самое через пару часов сделал и Богдан. Никаких сомнений в том, как Генка потратит святые деньги, быть не могло – как только сумерки стали мазать небеса, он опять подозвал играющих мальчишек и послал их к дому Тюриных. Когда гонцы вернулись, Егор и Богдан растопили баню. Черный дым клубами повалил в чистое небо, отражавшее в себе белый снег.

План теракта был прост и талантлив. Как только черный целлофан сумрака стал покрывать село, Егор (ему досталась отломанная спичка) в одной из бесчисленных отцовских спецовок пробирается к ограде храма в медицинских перчатках, с мешком, набитым бензиновыми полторашками. В это время Богдан, словно и не замечая отсутствие друга, парится в бане под ревуший

на всю улицу магнитофон. Егор должен был убедиться, спит ли Генка. Как раз в то время сторож должен был вырубиться. Сторожку от храма отделяло пара десятков метров грязного снега, так что пламя до него не добралось бы. Спрятавшись с безлюдной стороны, Егор должен был щедро улить деревянную стену бензином, ухитрившись оросить как можно больше пространства. Вставить в щель (а их между бревен хватало в изобилии) войлочный трут, запалить его и броситься бежать к дому. Там сразу – раздеться, швырнуть пропахшую бензином спецовку в сарай в кучу десятков таких же отцовских одежд, а самому броситься в парилку, исхлестаться дубовым истомленным венником, выскочить во двор нагишом и облиться ледяной водой. А все это время видеоманитофон записывает трансляцию «Аншлага». Чистый Егор должен ворваться в дом, махом опрокинуть несколько стаканов самогона и, пока разум только начинал туманиться, спешно просмотреть запись дебильной передачи, заливая ее пойлом, еще и еще, и только потом неспешно и разгульно выйти из двора, чтобы увидеть дымящееся пепелище.

Итак, баня была натоплена добела, Богдан поставил видак на запись и спокойно ожидал своего друга. Внешне никто бы не смикитил, что он знал – Егор не побрел в сортир, чтобы не осквернить баню, а бежит к церкви, вооруженный десятью литрами бензина! Прошли липучие десять минут, томительные в бесцветном пару. Пятнадцать. Наконец Егор вбежал в баню с полным рюкзаком. Лицо у него было усталое.

- Ну как?

- Да никак. Не выйдет ничего. Попа нового прислали.

- Как так?

- Да очень просто. Привезли его на уазике. Здоровый такой, рыжий. Генка-то с перепоя его впускать не хотел, винтовку откуда-то вытащил и на него.

- А поп что?

Егор медленно стягивал с себя шмотки и укладывал их на деревянную лавку.

- Поп не промах оказался. Постоял и как гаркнет: изыди, бес! Как прыгнет на него через три ступеньки, трах, хлесть! Винтарь в одну сторону, а Генка в другую. Схватил его за грудки, через себя по лестнице вниз и спустил носом по ступенькам. Генка кое-как ствол подобрал и домой, видно, хмель из него быстренько вылетел.

Богдан молчал, раскрывши рот.

- И что теперь делать?

- Ничего. Посмотрим. Будем ждать.

-8-

Да, на самом деле, новый священник был рыжий, с северной крепостью, чуть-чуть покрытой сальцем. Звали его отец Владимир.

Он сразу запер церковные ворота на амбарный замок, а в самом храме долго и нудно стучал молотком. На расспросы сельчан и их нестерпимое желание «поставить свечечку» он спокойно отвечал, погодите, дескать, отмолить ваш храм надо. Грязью он зарос. Все прекрасно понимали, что он имел в виду, и соглашались.

Отец Владимир вставал рано, с петухами, рубил дрова, и при этом исступленно, громко молился. Потом дотемна восстанавливал храм и ложился спать часов в девять вечера.

Богдан и Егор выжидали, наблюдали за реставрируемой церковью в бинокль и духовно колыхались. Христианство уже казалось им нелепой путаницей и все книжонки, найденные в сарае – «Житие преподобного Серафима Саровского», «Библия для самых маленьких», «Иисус любит тебя» – не вызывали у них ничего, кроме скептических ухмылок. Все казалось бессмысленным: и сам институт церкви, и монахи, и старцы-святые. Зачем все это? Чтобы молиться за нас? Ну и что толку от их молитв – ведь жить-то от этого лучше не стало ни на грош. Более того, хитрые попы сами выпрашивают гроши да побольше! С каких хренов, как грибы после дождя, выползают по всем городам и весям России церкви, монастыри да часовни? Уж ясно, что не со старушечьих истертых лепт! То ли это отмывается бандитское бабло, то ли бюджетные средства, смазанные откатами, текут ручьем туда, вместо больниц и спортплощадок.

Наконец, нашелся старый цветной журнал, который Богдановский отец еще давно утащил из библиотеки. Какой-то известный очкастый поп, толстый и женоподобный, словно сошедший с революционной агитки, соглашался с гибелью православия. Он даже смиренно предрекал, что Сибирь русские вскоре оставят и населять ее будут китайцы. Так что все церкви, что сейчас там массово возводят – это для них. Дьякон советовал молодым попам срочно учить восточные языки, чтобы потом было кому нести свет истинной веры непросвещенным косоглазым. Это было до того противно, что журнал с толстым попом был немедленно сожжен в печке.

А душа совсем застонала в своей пустоте. Как же теперь? И вот через несколько дней Егор позвонил из города Богдану:

- Собирайся! Через три часа у нас стрелка! Меня с парнем одним очень интересным свели.

- Ага. А чего за парень?

- Темнослав. Язычник, очень умный. На пятом курсе у нас учится на истфаке. В аспирантуру собирается. Он обещал помочь, там на вопросы разные наши ответить. Он волхв в языческой общине, представляешь? Давай в два на Фонтане встретимся.

Спустя три часа они стояли перед дверью, обитой дерматином и нажимали на кнопку звонка, испускавшего жалкие птичьи трели. Вскоре замок зашебурился ключом и из щели донесся низкий грудной голос:

- Заходите.

Волхв Темнослав был хорош. Лоб был перепоясан плетеной веревочкой. Лицо украшали аккуратная бородка с усами и длинные русые волосы, заплетенные в три косы – две спускались с висков, а третья, самая толстая, прочно висела сзади, доставая до кожаного ремешка, на котором болтались в кошельках пачка сигарет и мобильник. Одет Темнослав был в настоящую русскую народную рубаху, только черную, до колен, перепоясанную кожаным пояском, и с кроваво-красной оторочкой на подоле, по рукавам и на вороте. Изпод рубахи выглядывали трико и босые ступни в домашних тапочках. В косоворотках в Ленино давно уже никто не ходил, разве что дедушка Матвей иногда косил траву в такой же, только белой и покороче, потому парни чуть приоткрыли рот в изумлении.

- Здравы будьте, – молвил Темнослав и протянул руку для пожатия. Богдан растерялся, пробормотал «здорово» и неумело стиснул нежную кисть хозяйину. Егор же, видно, уже прошедший краткий курс молодого бойца, ответил «здрав будь» и поздоровался правильно: хлопнул ладонью Темнославу по сгибу локтя и принял такой же шлепок.

- Что ж, проходите в светлицу, – изрек волхв и прошлепал в комнату. Светлица скорее напоминала темницу, ибо от потолочной люстры до плинтуса была драпирована черным и красным бархатом. На стене напротив густо зашторенного окна висел красный нейлоновый флаг из тех, что продают в музыкальных магазинах. На нем из белого круга крутилась черная гитлеровская свастика. В красном углу, где у деревенских бабушек угрюмились иконы, на грубо сбитой полочке, усталой расшитым рушником, стояли грубо вырезанные шахматные фигурки идолов, перед ними горела ароматическая палочка.

- Ну, други, – молвил Темнослав, усаживаясь в продавленное кресло, так же обитое черным бархатом, – с чего начнем? Что вас ко мне привело?

Богдан поерзал на черной кушетке и ответил:

- Мы запутались. Мы хотели бы, чтобы вы...ты... помог нам.

Темнослав усмехнулся.

- Да ничего проще нет. Обряд имянаречения? Вам сначала раскреститься нужно. Отречься официально, так сказать. Во Христа не веруете?

Парни почему-то не могли ответить на этот вопрос решительным и твердым «нет». Да, их постигло колкое разочарование и в православии, и в аппарате священников и верующих, но отречься придется не только от Христа! От святок и гадания перед Рождеством, от обжигающей проруби на Крещение, из которой выбираешься по локти в ледяной каше, от вербного воскресения, когда они ходили на опушку и дедовским перочинным ножиком срезали пушистые ветки, от Пасхальных куличей и яиц! Да и сама Масленица и ночь Ивана Купала, разве не с именем Христа они праздновались в деревне? А разве можно предать бабушку, которая, повязав чистенький платочек, водила их в «церкву» на причастие, и говорила: «А ты когда идешь в школу-то, возьми да и скажи «ангел навстречу, Господь на пути, царица небесная, мне помоги».

Богдан просто промолчал, отведя взгляд, а Егор промычал «э-э-э».

- Да вы что! – Темнояр усмехнулся. – Вы что же, блин, совсем ничего не понимаете что ли? Вас крестили черным ритуалом! По каббале! Колдовские имена говорили, маслом мертвых родничок на голове мазали! Да и сам Иисус – это же жид! И пидор! Педераст, гомосексуалист, нах! – он заметно перевозбудился и начал ерзать на своем кресле, сминая бархатное покрывало.

- Как это? – спросил Егор, и Богдан одновременно с ним спросил:

- Это почему это?

-Э-э! Да вы, похоже, совсем ничего не знаете... Ну, что Иисус Херстос, блин, был жидом, это, я думаю, и так ясно, если у еврейской матери родился! У евреев же кровь по матери передается – если мать еврейка, то и сам, значит еврей. А что он пидор, так вы что же, Библию не читали, что ли? Там же сказано, что типа у него спросили, почему твои ученики не постятся? А он им, мол, как могут поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Когда жениха отнимут, тогда и будут поститься. А жених что с невестами делает, и так ясно. Трахал он всех своих апостолов и так и этак! И шлюх всех жидовских перетрахал, самых грязных, Марий-Магдалин всяких! И еще там всегда написано, что он возлежал с ними со всеми! А евреи лежа не ели, это только у римлян было, вот как! И еще! Там, когда Иисуса арестовали, что один пацан из одеяла вывернулся и голый бежал. А чего он голый бежал, там холодно! И Сатанист еще был Иисус, он ритуалы блин, делал, что типа это вино и хлеб, а вы едите мое мясо и кровь мою пьете!

Богдан и Егор молчали, ошарашенные. А Темнослав продолжал сжимать покрывало:

- Как же я ненавижу христиан! Они же все зомбированные! Раньше славяне жили честные, открытые! На колени не вставали перед богами своими и ничего у них не просили. Только славили их, за это их и стали славянами называть. А князь Владимир, жидовский сынок...

- Почему...

- Потому! Мать его, сука, была жидовка! И звали ее Малка, а дядю его – Дабран! Они всю веру нашу извели, чурь всех богов изрубили, все книги, все знания, веды! А волхвов наших! Волхвов! Всех сожгли! И все! Вот из-за этого теперь в такой жопе мы живем! А если бы тогда в колыбели Владимира этого, Вальдемара, блин, алкаша, в люльке подушкой задушили, эх, какая бы сейчас жизнь была! – здесь Темнояр прикрыл глаза и долго сокрушенно качал головой. – Но ничего. Ничего! Когда мы к власти придем, мы попам, блядь, все это припомним! Всю церковь жидохристианскую – нахер!

Здесь Богдан попробовал робко заметить:

- А я читал волхва Остряра, он говорит, что язычество терпимо относится к другим вероисповеданиям. Что потому оно и язычество, что здесь есть место для всех богов...

- Остряр? Какой он Остряр! Говневич он! Иван Годневич! И имя даже и то еврейское, Иван по-еврейски значит «да будет славен Иегова»! И сам он самый голимый жид, которого я только видел! Что он там мог говорить! Он же вообще ничего не рубит, какой он волхв? Сам себя назначил волхвом, блин! Какая может быть терпимость? Хрюсы разве к нам терпимо относятся? Вон, и в Калуге капище все изуродовали, на алатырный камень – насрали!

- Ну это может, фанатики какие-нибудь...

- Да они все фанатики! С кем ни начнешь разговор – вроде бы нормальные люди. А только за веру речь пойдет – сразу в мозгах что то включается – какой-то аппарат зомбирования и все! И ненависть сразу, и отеческий поучающий тон, и все эти штампы дебилские! Типа, душа – по натуре – христианка, русский мужичок – по натуре – православный, до князя Владимира славяне на деревьях жили...А если бы не было князя Владимира, не было бы сейчас русских пьяненьких мужичков-богоискателей. И интеллигентов-жополизов тоже бы не было! И всего этого кала – пидоров, наркоманов, ростоманов, трансигов, лесбиц, алкашей – не было бы! Честные, суровые, прямодушные, бесстрашные – вот что такое русские люди! А не рабы божьи! Герои – это герои, а не шизофреники, нищие и кастраты! – И шепотом добавил. – Самое главное, что все это правда. Один только настоящий был волхв

– Ольх Руянский. Единственный человек, которого я считаю волхвом. Вот такой был мужик! Настоящий...И того убили. А если бы он жив остался – тоже, уверен, многое бы сейчас было по другому.

Богдан неотрывно смотрел на флаг и совсем не к месту сказал:

- Если в язычестве чтят предков, то почему у тебя фашистская свастика висит? Ведь наши деды против нее сражались!

- Во-первых, свастика не фашистская, и во-вторых, даже не нацистская. Это – символ арийцев, символ Солнца!

- Но ее использовал Гитлер, когда сражался с нашим народом.

- Ха! Фюрер не сражался с нашим народом. В те годы наш народ пух идох! Мерли тысячами! Расстреливали – миллионами! Родители ели детей, а дети – родителей! И он хотел спасти наш народ от большевистского ига!

- Но ведь он считал славян недочеловеками!

- Это трагическая ошибка. Ошибался Адольф Алоизович. И потом сам в этом искренне раскаивался. А почему? Кто втравил его в эту войну против братского народа? Это вам – домашнее задание. И еще – почему пруссы и русы так похоже звучит, почему на гербе Берлина нарисован медведь, что только что вылез из берлоги, и почему Ольденбург раньше назывался Старгородом, Дроздяны – Дрезденом, а Рюген – Руяном? Почему первые дни войны Советы отступали? Да не хотел народ против освободителя выступать! И почему казаки к Власову шли? Да потому что Советы всех казаков истребили! И сейчас еще глумятся – мол казаки – клоуны, ряженые! А чего там, всех же пере-стреляли! Почему-то чеченцев ряжеными никто не называет! И не забывайте, что наших дедов в задницу кололи штыками заградотряды СМЕРШа!

- Никто моего деда никуда не колот. Деду Васю. Я его на фотографии видел. Он в семнадцать лет пошел Родину защищать. И под Ленинградом на Дороге Жизни из-под льда консервы доставал и так там и остался...

- А этого могло и не быть. Почему сначала Советы отступали? Народ ждал сбросить большевистское бремя. В тюрьмах томились миллионы русских людей, брошенных на нары только за то, что они – русские. И если твой дед погиб под Питером, защищая жидовскую власть на родной русской земле, то мой – в Тамбовских лесах, задыхаясь от иприта Тухачевского! Так же как другие гибли под знаменами Колчака, Врангеля и Каппеля! Тонули на льдах мятежного Кронштадта! Терпели пытки в подвалах ЧК, НКВД, МГБ и КГБ! Защищали хлеб для своих детей от продрозверсточной гольтьбы! Вступали в Русскую Освободительную Армию Власова, Казачьи корпуса Вермахта, и дивизию Ваффен СС! Стреляли в ненавистных красных палачей вместе с «лес-

ными братьями» и бандеровцами! И гибнут в зонах и поныне, по лживой статье «Пропаганда межнациональной розни», так же, как и раньше, брошенные на нары коварной нерусью!

-9-

По пути назад в Калинино парни сели вместе на дощатую скамью электрички. Хоть была пятница, в вагоне было пусто. Снег только начал сползать с полей, обнажая пустынные тоскливые пейзажи. Весна начиналась неохотно, и темнело все равно рано, нагоняя чернь за запотевшее окно.

- Слышь, Егор! Я, блин, вообще запутался. Если так посмотреть: кому верить? Даже в язычестве – и то каждый горазд друг друга изгадить! Одна община – другую, язычники – родноверов, национал-социалисты – традиционалов, совсем нет сплочения... Хоть и идея вроде самая верная, и вроде – вот она, да только так ее разные люди видят, что страшно делается. Если и говорят, что в том и прелесть язычества, что стандарта нет, и каждый по-своему понимает, то почему тогда один другого только и норовит грязью измазать? И будет ли оно, сплочение и Славянское единство...

Егор молчал, засунувшись носом под воротник. Можно даже было подумать, что он спит.

- Эй, ты чего? Уснул что ли?

Егор вылез из пазухи. Глаза у него были красные и набухшие.

- Деда мне жалко, Богдан. Не знает он этого ничего. Живет в нищете, гол как сокол. Одно у него осталось: память, что Родину защищал, народ свой. Что спас он Родину. Хоть это у него отбирать не надо...

-10-

Тяжело. Мозги словно варили в консервной банке над туристским костерком. Можно даже завидовать тем, у кого нет мозгов, и тем, у кого они пусты. В малых знаниях – многие радости! Вроде бы все понятно, но что понятно-то?

Когда оба парня сидели у Егора дома и в сотый раз перечитывали брошюрку, что дал им Темнослав, в калитку сильно постучали. На их удивление, это оказался отец Владимир, распаренный, в тельняшке и спортивной кофте и с огромным топором в руке.

- Здорово, – густым сочным баритоном поророкотал он, – парни, не поможете? У меня ватерпас в щель провалился между досками, а у меня рука не пролазит. – И он продемонстрировал свою короткопалую ободранную лапищу, с расплывшейся татуировкой на запястье «За ВДВ».

Богдан и Егор прошли в храм, который встретил их незнакомой чистотой, свежестью и радостным запахом резного дерева. После долгого извлечения старинного ватерпаса из узкой щели в полу, парни были приглашены в гости на особенный травяной чай.

Это вызвало невидимую усмешку – слишком уж была свежа память о бесславном финише отца Даниила. Но хотелось поговорить, а кто не поможет им ответить на окончательные вопросы, как сам поп? Тем более, он разительно отличался от всех виденных ранее православных. Образ слюнявого нищего или пьяного Генки, с их неистовыми воющими молитвами, нельзя было даже сопоставить с опрятным медвединым видом отца Владимира.

Они сели за самовар, священник сбросил свой адидасовский кафтан и стал совершенно похож на воина-афганца. Впрочем, повнимательнее приглядевшись, можно было догадаться, что он им и был. Во все плечо – синяя расплывшаяся татуировка с номером части и волком в берете. Только на шее помимо истертого алюминиевого крестика на гайтане висела игловидная пуля, пухлый кожаный мешочек и несколько круглых деревянных оберегов.

- Слышал, я парни, о чем вы говорили. Уж извиняйте, что вроде как бы и подслушал, да так вы спорили, что наверно, все село уши грело. И про убеждения ваши слышал. Ну, я миссионерской деятельностью заниматься не собираюсь. Просто интересно мне, по-мирски, так скажем. Вы уж мне ответьте, почему вы Православие так не любите? Что вот оно вам лично плохого сделало?

- Почему не любим? Потому что оно врет!

- Как врет?

- Сначала говорите: ударили по одной щеке – подставь другую, а сами – что? Миссионеры капища рубили, и волхвов казнили! И ведьм жгли, и праздники запрещали, и культуру народную сатанинской называли. И всю историю под себя переписали. И даже название свое – Православие – у нас украли, у язычников, потому что славяне Правь славили.

- Да ерунда это все. Славяне, между прочим, тоже немало чего у соседних народов реквизировало. И Семаргла, и Хорса, и Свентовита. Да и про Православие – это еще вилами на воде писано, нашу веру так только после Никонианской реформы стали называть. Домысел лже-историка. И про щеку – это образ, если уж так это вас беспокоит. Иисус же притчами говорил, образами. Ну а Инквизиция, что ж, это давно было. Время такое было. Язычники раньше тоже и человеческими жертвами грешили. Да и войны до Рождества тоже были будь здоров, здесь не в вере дело. И скифы, и готы, и гунны воевали посерьезней крестовых походов.

- Но они сражались честно и открыто! Их Боги – суровые и воинственные! Они не прикрывались тем, что несли любовь и просвещение иным народам!

- Но христиане же действительно все это несли. Они верили в то, что улучшают жизнь других народов. И частенько это действительно случалось. Кстати, если бы слабые народы не захватили христиане, их бы поработили жестокие соседи-язычники. Но я не об этом. Вы ведь родноверы, так?

- Так.

- Зачем вам это? Почему вы сделали именно такой выбор? Жили бы и жили, как все. Проблем никаких – голова ничем не забита.

Богдан и Егор медленно, тщательно подбирая слова, отвечали, дополняя друг друга.

- Мы...не хотим так жить. Так плохо. Наша Родина больна. Она гибнет. Весь мир гибнет. Мы хотим изменить мир...

- Улучшить. И Православие не спасает Мир, как раньше. Оно вяжет его по рукам и ногам и тянет к гибели, неотвратимо заказанной древними нерусскими мудрецами.

- Православие – угрюмая религия, в начале которой лежат колдовские иудейские скрижали, а в конце – торжество о гибели мира.

- Мы не хотим, чтобы Мир погиб. И мы изменим его.

Отец Владимир встал, подошел к шкафу, закрылся цветастой занавесочкой и начал переодеваться, разбрасывая волосы и бороду через ворот.

- И что же вы делаете для улучшения Мира? Для спасения Руси Великой – и вашего милого Калинино? Только треп на лавочке не считается. И то что вдесятером негра поймали и кренделей навешали, это, други, вас воинами-освободителями тоже не делает. Негр этот на государственность не покушался, на устои тоже. Генка-бухарик в сто раз урону больше Руси наносит, чем ваш негритенок.

Богдан и Егор смутились. Непонятно, как их участие в скинхедовской акции стало известно попу. То ли они этим чересчур громко хвастали, то ли он как-то прозорливо догадался.

- Мы изменяемся сами, а значит – изменяется мир, – нашелся Богдан.

Отец Владимир натяжно рассмеялся.

- А вы, ребята, я погляжу, словоблуды, почище иных попов. Реально, говорю, как вы мир улучшили? Что храм спалить хотели?

У Богдана с Егором сердце рухнуло под коленки.

- Да видел я все. Тоже мне, нашлись диверсанты хреновы. В Афгане с таких разведчиков, как вы, живо бы кожу содрали. И благодарите Бога, что я – православный. И живу не языческим законом Lex Talionis – «око за око», а христианским – «возлюби ближнего»! А про улучшение мира я вот что скажу.

-11-

Тут отец Владимир вышел, широко распахнув занавески, как конференсье. И сердце парней рвануло из-под колен в небеса, через горло под затылок. Священник сбросил свою прожженную тельняху и надел на голое тело косматую безрукавку. Длинные волосы перетянул очельем, сплетенным из цветных кожаных ленточек. Кроме того, стало ясно, что штаны его были не спортивными триканами, а грубыми холщовыми, с поясом, разотканным свастичными узорами. Но если такие атрибуты еще можно было встретить у сельского архаичного священника, то огромное солнце, выколотое во всю грудь с животом, было живым и улыбалось так мудро, что хотелось бухнуться на колени, как туземцы перед татуировкой Жака Паганеля.

И хотя у волхва Олега Руянского голова была обрита налысо, подбородок был так же гол, а длинные усы свисали до груди, такие глубоко посаженные зеленые глаза под мохнатыми светлыми бровями стали моментально узнаваемыми вкупе с этим огромным мудрым солнцем.

- Да. Я – доктор исторических наук, кандидат философских наук Олег Руянов, он же Ольх Руянский, стал отцом Владимиром, получившим и богословское образование. Ольха никто не убивал, просто он немного изменился.

Ольх грузно, но грациозно опустился на табурет.

- Я очень давно пытался найти ответы на вопросы, над которыми вы ломаете голову. Мысль изреченная – есть ложь! Язычество, Славянская вера, Родноверие, Древлеславие – лишь слова. Главное – дело. Меня так стало злить все словоблудие...Кто сейчас из язычников делает дело? Селидор разработал Славяно-горицкую борьбу. Основал Союз варваров и Воинское сословие. Доброслав уехал в вятскую лесную глушь, пишет книги по философии и геобиологии. Кто еще? Остальные – обычные историки и политики. А Ольх Руянский решил изменять мир по настоящему. Изменять не тех, кто этого хочет, кто записывается в очереди, чтобы слушать твои лекции, посещать тренировки и раскупать книги. Они и сами справятся.

А кто поможет тем, кого забыли не только истинные правители России, но и радетели за Русский народ? Кто поможет русскому народу, именно так, с маленькой буквы? Генке-бухарику, Толе Буденному, Саньке-пожарнику, Жене Манишкину, Лехе Теленку, Елене Михалне, Ольге Николавне, всем им – кто поможет?

Я помогу. А сделать это я могу только теми средствами, что делаю я. Калининцам не нужны слоганы про величие русского национал-социализма, про сущность Рода и его ипостаси, про ЗОГ – сионистский оккупационный режим и про Ра-дость и Ра-дугу.

Им нужно, чтобы священник закрыл самогонный шинок. Запретил продавать водку. Выгнал из села Маринку-проститутку. Разогнал наркоманов из сарая Веньяминовых, а самого Ромку отправил на лечение или в монастырь. Добился того, чтобы сельский клуб из сортира снова превратился в клуб. Добился, чтобы зерно скупали не татары-перекупщики за полцены, но наличными и сразу, а представители Спиртпрома и Хлебокомбината за всю цену и тоже сразу. Открыл спортивные секции для ребят и взрослых. Возродил библиотеку, а на ее базе – клубы по интересам. Проводил праздники, заключающиеся не в пьянке и драке, а в счастье и радости. Добился бы того, чтобы молодые семьи стали рожать детей: программу «Дом для молодой семьи» и все схемы дотаций и субсидий не каждый поймет. Помогал молодежи определиться с выбором профессии и поступлением в ВУЗ. Настаивал, чтобы юноши не боялись армии и смело шли служить Родине. Заставлял завязывать со спиртным алкоголиков. Воспитывал бы девушек женственными и целомудренными, а парней – храбрыми и мужественными.

И я это сделаю.

Вы можете проводить народные праздники, и славить на них старых русских Богов. Я не буду мешать вам, а только помогу, и буду настаивать, чтобы народ у вас присутствовал. Я помогу вам с постройкой и оборудованием капища и сам буду тесать чуры богов.

Я буду служить России и русскому народу до последней капли крови не словами, а делами, ради этого я готов стать из Оляха Руянского малозаметным отцом Владимиром, ибо народ и Родина для меня важнее.

И вы должны сделать такой же выбор. А если нет – убирайтесь из моего дома, и к храму не подходите.

В сторожке отца Владимира долго горел свет.

Калинино уже погрузилось в сон, только в котельной элеватора не в склад не в лад пели песню пьяные Витька и Семен Андреевич.

Кандидат в суп для усатого шофера Толи Буденного – карликовый петух Пятак доукарекивал песни, не понимая, что этим еще больше укорачивал свои последние часы.

У молодых Коли и Наташеньки плакал ребенок. Коля только что пришел с дежурства и ему приходилось мучительно завертываться в подушки, чтобы хоть немного выспаться перед завтрашними сутками.

- Баю, баюшки, баю,

Не ложися на краю...- шепотом пела похудевшая Наташенька, качая зыбку. – Спи, Ириночка, усни, очи ясные сомкни... А то папа наш устал, папа нынче рано встал...

Коммерческий директор элеватора Олег Митяев сидел в туалете на сиденье, обшитом кошачьим мехом, и, вынув из тайника за бачком пакет с «откатными» долларами, еще и еще пересчитывал их, томно закатив глаза.

Профорг Николай Александрович не мог заснуть – болело сердце, он сидел у окна за старой зеленой лампой, гладил портрет жены, и, кашляя, плакал.

Наркоман Ромка валялся в гараже на фуфаечной подстилке и с ужасом смотрел на кровавую лужу, расползающуюся у штанов.

Шестиклассница Олечка улыбалась во сне – ей снился молодой красавец физрук Женя Манишкин.

Снабженец Юля ожесточенно любила с соседом Егором, только что вернувшимся из мест лишения свободы, закусив губу и дырявя ногтями наволочку, даря жизнь младенцу, которого потом назовут Митя.

Сердце красавца Жени Манишкина переставало биться, потому что он скорчился в своей каптерке и захлебнулся едкой самогонной рвотой.

На скамейке у фонаря сидели, тесно прижавшись друг к другу счетовод Танюша и студент-пятикурсник агрофака Дима.

- Танечка, милая моя Танюшка...Ты...ты – такая красивая...
- Дима, родной мой...я так тебя люблю...
- Таня...выходи за меня замуж. Я уже договорился с родителями, они нам комнату отгородят занавеской, там – нормально. А, Танюшечка? И ребеночка родим? А, Танечка?
- Дима...Димочка...Мой хороший... Я только знаешь чего боюсь?
- Что, моя лапочка?
- Я боюсь, что начнется война. Что тогда будет с нашим ребеночком?
- Природа рождала весну.

Июнь-октябрь 2004

ХОДИТЬ

*Идя вверх,
Внимая миганию звездонек,
Братскому охлопыванию по плечам месяца,
Радушной улыбке солнца, перед которым ты еще робеешь,
Глянь вниз.
Там – грязь земли.*

-1-

Аполлон Иванович Вапаев работал старшим экономистом на крупном перерабатывающем предприятии. Так в последнее время начал именоваться мясокомбинат, что стоял на окраине города среди березок, опухших от мерзкого запаха. Котел Лапс работал круглые сутки, а окно Аполлона Ивановича выходило как раз на цех переработки. Летом быстро душнело и приходилось распахивать ставни. Тотчас же кабинет наполнял прогорклый смрад горелых обрезков мяса и костей. Вот, наверное, первый и единственный недостаток Аполлон Ивановичевской работы.

Вообще сказать, у нас в городке между уборщиком, шофером, экономистом, старшим экономистом, главным экономистом и финансовым директором лежат денежные пропасти величиной в человеческую жизнь. Нашему же герою зарплату платили исправно, и, отметим, достаточно приличную. Иногда (не так уж часто, скажем в пользу Вапаева) за небольшие приписки либо наоборот, отписки, приносили маленькие подарки. Деньги почетом не пользова-

лись, очень уж это похоже на взятку, но в мясе семья нашего героя недостатка никогда не испытывала.

Иногда в кабинет Аполлон Ивановича забредали заблудившиеся крестьяне или охотники, которые его несказанно раздражали. Как раз сегодня произошел именно такой случай. Из какого-то хозяйства, где кириллицу познали лет десять назад, послали делегацию невменяемых колхозанов. Бессмысленно промотавшись по всем этажам, на табличке «Старший экономист» они увидели знакомые буквы, вернее, даже «черты и резы», и всей ордой влетели внутрь, поднимая пыль до потолка.

- Мясо бериеём?

- Скотину закупаим?

С таким народом невозможно говорить на нормальном языке, и Аполлон Иванович очень долго пытался выставить их за дверь, в отдел снабжения. Пришлось даже употребить лексику, неприемлемую в воспитанном обществе. Под конец пришлось вызвать охрану, которая за шкибот вышвырнула бормочущих поставщиков из мгновенно оскверненной скотым духом светлицы. Комната и без того неприятно пахла, но к запаху свежей мясо-костной муки Вапаев уже привык, и запах скотины, исходящей от невымытых человеческих тел, вконец выбил день из стандартной колеи. Даже хвойный освежитель воздуха только усугубил едкий запах. Сначала песочно защипали глаза, потом и голова стала ныть, как огромная мозоль.

Пришлось звонить по внутреннему главному экономисту.

- Елена Михална, я, наверное, в управление быстренько слетаю.

- Чего там?

- Да, говорят, там разнарядку новую получить надо.

- Ну, давай, раз надо.

- До ЗАВТРА тогда.

- Ну, давай, до завтра.

Разнарядку Вапаев получил уже сегодня по факсу, поэтому вместо управления он помчался домой. И теперь он сидел в кресле, развалившись, как кот-переросток, и лениво смотрел в телевизор. Жена, Зарена Ильинична, обычно являлась домой в шесть, и три лишние часа следовало использовать с максимальной пользой. Аполлон Иванович купил маленькую бутылку коньяку, и

сейчас безмятежно поглатывал напиток, пахнувший теплой виноградной бочкой, плавно погружаясь в топкую негу.

Жена явилась вовремя. Вапаев ритуально ее чмокнул, они поужинали и сели перед телевизором. Новости, как обычно, начинались с приключений президента. Все эти журналистские байки огорчали Аполлон Ивановича. Вот Вождь купил на рынке носки – и пожалуйста! – репортаж о нелегкой судьбе того самого продавца носков. В конце ролика торгош, щерясь во все свое лицо, не отягощенное багажом интеллекта, лопочет:

- Вот, Президент-то, Президент наш денюжку заплатил за носки-та! Во как! Пятнадцать рублей, как и цена им. Я говорю, мол, это, не надо, говорю, денег! А он, нет, заплатил, как положено! – и тычет в камеру грязные пальцы, сжимающие потертые мелочушки.

Аполлон Иванович сначала бесился, но потом привык, отдавая должное работе писак, которым нечем заполнить прайм-тайм. Теперь он лишь тонко улыбался, глядя на щербатый оскал носочника:

- Я думаю, пять рублей-то, дырочку у зятя продырявлю, он на Полетстрое слесарит, веревочку продену и на шапку – и носить буду, мол, Президентова денежка-то!

Скоро должна была придти дочь. Она после института ходила на курсы операторов РС. Сын, Икар, обычно возвращался затемно – он усердно тренировался в воздушно-десантном военном клубе. Важно для парня -- пилотирование, бой в воздухе, прыжки и прочее. Пусть в школе не самый лучший – после армии посмотрим, кто окажется на первом месте. Сам Аполлон Иванович тоже отслужил в свое время в десантуре и нисколько об этом не жалел.

Начались восьмичасовые новости и президент жестко охарактеризовал свой новый курс, который ушлые писаки нарекли поэтическим «Дать права рожденным ползать». Вапаев недовольно зевал, тыкая кнопкой по другим каналам, жена неторопливо пошла на кухню. Запахло жареным мясом: минут через десять должна явиться Света. Она обычно не опаздывала, знала, что родители будут волноваться. Так случилось и на этот раз – дочка впорхнула скромно, аккуратно затворив за собой дверь.

Поев, Света зашла в залу и села на свободное кресло, отряхнув его от ссохшейся земли с кошкиных лап.

- Мама, папа, мне нужно с вами поговорить.

-5-

Фраза о том, что беда не ходит поодиночке, была сказана каким-то внимательным человеком еще очень давно. И по сей день это неоспоримо. Но бедствующий философ, что ходил без штанов, завернутый только в длинную простынную тогу, упустил еще много деталей беды.

Беда дышит.

Она не выныривает из болота неожиданно, окатив тебя оплеухами воды и тины. Если вы так думаете, значит, вы просто не знаете, что такое беда. Нет, это не жаба! Она спокойно, уверенно подходит к вам, чтобы слиться с вами, войти в вас.

И вот вы, еще ничего не видя и не зная, начинаете чувствовать дыхание беды. Издалека оно веет восторгом. Но затем непонятное восхищение усиливается, захлебывается – и беда плавно и резко, как опытный любовник, входит в вас, овладевая целиком до последней капли.

И она дышит. Ее дыхание сливается с биением вашего сердца, иссушая и окатывая терпкими режущими вдохами и выдохами. Каждый мигок исторгает из тебя одышку беды, даже рост твоих ногтей и волос переплетается с хрипами в ее груди.

-6-

- Ну, чего случилось?

- Мама, папа, вы только не волнуйтесь. Все нормально.

- Да говори что ли ты!

- Мне очень нравится один парень, Дима, Деметр. И мы хотим, ну, пожениться.

- Ну.

- Что ну! Я, ну, может, неправильно сделала, что его с вами не познакомила, но это все так, не познакомила и не познакомила. Нынче познакомлю.

- Ну, ты к чему клонишь-то? Чтоб с пацаном знакомить – нам такую прелюдию объявлять не обязательно.

- Просто, я боялась, что вы будете думать, что у нас все так... Ну, вы это, сами понимаете, что я это... Ну, что имею в виду.

- Ну.

- Света, говори, что ли, по делу! Ты беременна?!!

- Дочка, говори!

-7-

В практичной голове Аполлон Иваныча все четко выстроилось в блок-схему.

Беременность:

А) аборт – а) свадьба после аборта – ð) куча проблем, о которых следует говорить отдельно.

 b) свадьбы после аборта не будет. Останется не совсем корректное отношение к дочери.

Б) Аборта не будет – а)свадьба беременной дочери – ð)куча проблем, о которых следует говорить отдельно, ß) позор, γ) помощь в воспитании ребенка,

 b) свадьбы не будет – ð) воспитание ребенка без отца ß) позор.

Кроме того (и пусть лирики беспомощно хохочут), каждый пункт и подпункт требует денег, и немалых, а их, как мы уже отмечали, у Аполлон Иваныча было не так и много.

Следовало грамотно выстроить экономику.

-8-

- Ты беременная?

- Папа! Ну что вы, всегда! – Света со всхлипом вздохнула. – Ничего я не беременна! Мы с Димой не спим!

Все пункты благословенно утухли.

- Так. Это хорошо. Ну.

- Ну, мы с Димой любим друг друга. Мы с ним встречаемся уже пять месяцев. Я, ну, вы извините, что я вам про него ничего не говорила. Я просто боялась, ну, что он вам вдруг не понравится.

Жена молчала, ввернувшись в кресло. Аполлон Иванович задушил и без того беззвучно вещавшего президента и мягко сказал (он ведь был хороший отец):

- Света! Ну что ты так о нас думаешь! Ты – взрослый человек, и мы уважаем и ценим твой выбор. Во-первых, нам бы он обязательно понравился, потому что он – твой. А во-вторых, даже, смотри, даже, если бы он нам вдруг не понравился, то, какое это имеет значение? Ведь он тебе нравится!

Света тихонечко захныкала.

- Мама... Папочка...

Зарена Ильинична было поднялась к ней, тоже готовая расплакаться, но Аполлон Иванович ее опередил, соколом взвившись с дивана и твердо обнял дочь, крепко прижав ее к своей еще мускулистой груди.

-9-

Сам Аполлон Иванович познакомился с женой, тогда еще Зоренькой, лет тридцать назад. Он был бравым курсантом десантного училища, она – студенткой педагогического института. Их учебки стояли рядом, через дорогу.

В пединституте учились в основном одни девушки, за исключением факультета физвоспитания. Физвосовцы и представляли единственную конкуренцию бравым курсачам. Ни одни танцы не кончались без всеобъемлющей драки, с победой каждый раз на разной стороне.

Именно в тот вечер Аполлон с помощью солдатского ремня с пряжкой с заточенными углами положил штабелями человек десять спортсменов, грязно пристававших к юной Зореньке, а потом и ему собиравшихся «подрезать крылышки». Она вытирала его брови, разбитые боксерскими кедами, своим кружевным платочком и тихонько всхлипывала.

- Да, не, милая, мне не больно. Шрамы украшают мужчину.

- Не надо. Не надо шрамов. Куда тебе еще украшаться, – и Зоренька жалобно всхихивала.

Черт побери! Сейчас все это вспыхнуло перед их глазами, даже шрамы над бровями, казалось, вот-вот потекут.

-10-

- Пап... Ну я еще не все рассказала.

Аполлон Иванович отошел от дочери и опустился на диван, еще успевший сохранить очертания его ягодич.

- Ну расскажи, расскажи. Как говоришь, его зовут? Деметр?

- Да, Деметр. Дима. Медведев.

- А кто у него родители?

- Ну, простые люди. Но очень хорошие. Много читают.

- А кем работают?

- Ну, в деревне они живут. Крестьяне. Он один в городе.

Да! Прямо персонажи для книг.

- А он сам учится? Работает?

- Нет, он училище кончил. Работает электриком на Центральном.

Еще чище!

- Света, ты уж извини, конечно, что я так спрашиваю. Но я – твой отец и больше всех на свете хочу, чтобы у вас все было хорошо.

- Хли!

- Света, успокойся.

- Ты хочешь создать семью. Не забывай, что ты – девушка. Ты покинешь наш дом и войдешь в другой. Но есть ли этот дом? И сможет ли твой будущий муж содержать тебя не хуже, чем мы? Ты, это, ну, только там не подумай. Мне-то, да и матери тоже: наш дом- ваш дом, и мы всегда, пока будем работать, всегда будем вам помогать, насколько чего хватит.

- Па...п...па... спасибо, мамочка, спасибо... Нет, Дима нормально получает. Он один весь завод обслуживает, он в электрике очень здорово разбирается. Он даже сам радио сделал у себя дома, даже Англию ловит. Он даже, пап, больше тебя получает. Жить я у него буду.

Это сообщение неприятно кольнуло Вапаева, но с другой стороны, должно было избавить от вышеуказанной кучи проблем.

- Я только, это, ну одного только еще не сказала...

В комнату совершенно не ко времени ворвался Икар. Его потертый камуфляж был перепачкан подсыхающей грязью, а через весь лоб нагло улыбалась глубокая царапина.

- Привет! – Икар полез в ящик шкафа за ватой.

- Сынок, что у тебя на лбу?

- Да мы сегодня знаешь, что делали?

- Икар, давай потом. – Вапаеву, конечно, хотелось послушать, но если бы они сейчас стали, разинув рот, слушать про бутылки от шампанского, разбитые об голову, то этим бы несказанно обидели дочь. – Нам со Светланой нужно поговорить.

- Ну ладно, иду, иду. Ну, стой, дай, расскажу, я быстро! Мы сегодня в свободном падении на ножах дрались! Илья Власов меня поцарапал! Летишь вниз безо всего, быстро!..

- Икар, давай потом. Пять минут еще. Давай-давай.

- Ну ладно. – Он вышел, смазывая ссадину йодом.

-12-

- Слушай, ну и что? Что, свадьбу будете где делать? Заявление не подали еще?

- Нет еще. Мы пока загс выбираем. Я только...

- А столовую нашли? У нас на заводе можно договориться подешевле. Машины тоже можно на заводе договориться, я с завгаром в хороших отношениях.

- Пап. Мам. Послушайте меня, наконец!

- Ну, что?

- Я про Диму вам до конца еще не рассказала.

- Что такое?

- Только не перебивайте. Он... Он очень красивый. Высокий, метр девяносто.

- Не, ну чего ты рассказываешь? Увидим. И вообще, ты почему нам его до сих пор не показала?

- Да, правда! Мы что ж, в каменном веке что ли?

- Вот я про это вам и говорю. Я только не знаю, как сказать.

- Да уж скажи, как есть. И так уж подарочек сделала.

- Ну...

-13-

... У него нет крыльев.

-14-

- Что?

- Да то! Нет у него крыльев! – и уткнувшись лицом в руки на коленях, Светлана заревела с истерическими захлебываниями.

Аполлон Иванович посмотрел на жену, растопырив глаза и растерянно сглатывая. Та вытаращилась на него так же потерянно разинув рот.

- Как нет крыльев? Бескрылый?

- Да! Да!

Экономический ум Вапаева на несколько минут дал сбой, словно нога постоянно промахивалась мимо ступеньки.

– Ты что ж это, полгода с бескрылым встречалась, что ли?

- Да! – Светка подняла лицо, ставшее теперь похожим на протухлую свеклу.
– Я потому вас с ним и не знакомила, что вы бы тогда запретили нам встречаться.

Вапаев наконец собрался и пощелкал пальцами перед носом у жены, чтобы та прикрыла рот.

- Он что, и сам без крыльев, и родители, да?

- Да.

- И ты собираешься замуж за него выходить, и детей, стало быть, рожать? А то, что дети у вас тоже будут бескрылыми, вы не подумали?

- Подумали...

- Херово вы подумали!!! – Аполлон Иванович в семье обычно не употреблял нецензурщину, но сейчас ситуация довела его до красного каления. – Это

что ж, внучок у меня будет – уродец, без крылышек. А я, грешный думал, вот внучек родится, слетаем с ним на родину ко мне... А теперь что же – я его в руках, что ли, поволоку? Или пешком пойдём, а?

- Может, ему какую-нибудь операцию сделать? Приставить как-нибудь крылья? – робко подала голос Зарена Ильинична.

- Да нельзя, нельзя им ничего приставить! Мозги им надо приставить! Вон, смотри! – он включил звук в телевизоре и швырнул пульт на диван. Переключалка неловко слетела на пол и покатила по линолеуму, не к месту весело крутясь. Как раз кстати президент, сурово грозя пальцем, выговаривал:

- Крылья, точнее, их отсутствие, не должны быть причиной какой-то чудовищной дискриминации. Нам не нужна, подчеркиваю, не нужна гражданская война, война своих против своих. Ведь бескрылые граждане – не только такие же равноправные жители нашей страны, но они такие же русские. Я думаю, что мы должны более толерантно относиться к жертвам страшной трагедии, которая вдруг разделила вчерашних братьев на крылатых – и бескрылых...

Зарена Ильинична осторожно подняла пульт и выключила телевизор. Президент мгновенно сжался в маленькую точку и потух. Ватное молчание неуклюже поползло из уснувшего экрана, тотчас же набив рты зареванной Светы и ее родителей.

Вапаев встал в середину комнаты, чтобы ничего не задеть, и осторожно расправил свои крылья, крепкие и мускулистые, еще не начавшие покрываться жирком, несмотря на сидячую работу.

- Вот, глянь! И без этого ты хочешь оставить и детей своих и внуков! Да?

- Ну пап...

- Что «ну пап»?! Да, и еще. Ты забыла, что теперь сама только пешком будешь передвигаться! Да? И теперь на верхние ярусы – с мужем ты уже не взлетишь, он летать-то не может! И в компанию ни одну приличную – все! – путь закрыт! Если только мужа за подмышки поднимать будешь! Да? Да еще, жить, говоришь, у него будете. Это наверно, в «общезитии для ползунов», да? Там-то верхних входов нету! Что, будешь по лесенке подыматься?

Ладно, самой-то уже по хрену, по-русски сказать, все, так ты о детях хоть подумай о своих! Да и о нас тоже! Вот как хорошо! Кому скажешь: дочь замуж вышла! За кого? Да за бескрылого! В «ползуновской общаге» живут! Да засмеют же!

Света прекратила рыдать и только неритмично хлюпала. Вапаев уже подумал, не перегнул ли он палку.

- Ну, ладно. Запретить мы тебе, конечно, ничего не можем. Но знай, что я – против! И всегда буду против.

- Дочка, – добавила Зарена Ильинична, – ты хоть понимаешь, на какой сложный и опасный путь встаешь? Сама, по собственной воле? А учти, когда замуж выйдешь, это же не игрушка. Это на всю жизнь надо, а не так, чтобы поиграла – и домой.

- Да! – подтвердил Аполлон Иванович. Он опять начал яриться. – Да! Что, хочешь, вон как Исаевых дочка, да? Два месяца пожили – и на развод?

Света вскочила, концы ее девичьих крылышек гневно затрепетали.

- Все это я знаю! И ничего этого не боюсь! Трудности? Пусть трудности! Я, мы преодолеем все трудности! И любовь наша нам будет только помогать!

- А это? Ну, что там преследования всякие? – Вапаев тыкнул пальцем в серый экран, – будут-то не только мужа твоего гонять. Думаешь, тебя помилуют? Вон, вчера только показывали, погром-то в Питере как устроили?

Света тяжело вздохнула.

- Если совсем вдруг плохо станет, поедем в деревню к его родителям. Там бескрылых никто не трогает.

- В деревню? Что ты там делать-то будешь? Ты ж корову от лошади не отличишь!

- Я научусь. Я всему научусь.

Вапаев, махнул рукой и плюхнулся на диван.

- Ты хоть понимаешь, нам-то сейчас какво? Это все! Считай, дочь потеряли! Раз – и все. Даже в гости к тебе не слетаешь, там-то, в общагах да деревнях твоих, крылатых тоже не особенно жалуют. Да и ходить-то мы с матерью уже далеко не сможем.

- У Димы машина есть...

- Еще чище! На машине ездить на старости лет-то! Бог не дай, кто увидит: Вапаев, скажут, с женой в автомобиле ездит! Тьфу ты!

- Папа, ну хватит! Мне и так сейчас плохо, а ты вообще, что ли, хочешь мне все сердце разорвать?

- Ты нам уже разорвала, все что можно. Хватит, главное! Это что ж, получается, все, да? Тебя от нас как кусок пирога, отрезал да сожрал Дима твой?

- Папа! Не говори так! Он – мой будущий муж и я его люблю. Ты, вообще, пап, что, хочешь меня обидеть?

- Да не хочу я тебя обидеть. – И Аполлон Иванович вдруг почувствовал над кадыком огромный кусок непроглоченного яблока, глаза вероломно мигнули, готовые вот-вот выпустить жемчужную каплю. – Мы же любим тебя, Светлана!

- Дочка, – Зарена Ильинична уже начала всхлипывать, – мы ж тебя вырастили, вынянчили... а ты вдруг – так вот... улетаешь от нас... неожиданно так...

- Не надо, мама, – Светлана тоже, в унисон с матерью громко ахнула слезами, – ну что вы так...

- Ладно, Зоря. – Вапаев наконец взял себя в руки. – Хотите жить – так живите. Хотя мы против. И кстати, по поводу знакомства. Сюда твой жених подняться не может, я на лебедке его поднимать не собираюсь. А мы с матерью в общагу тоже не полетим, чтоб по лестнице шлепать. – Он раскрыл шкаф и вынул из деревянного сундучка топорик, которым его благословил на свадьбу отец, дед Светланы. – Как тут вас благословить? Бескрылого? Топор-то треснет пополам! Скажи Диме своему, что дай бог ему удачи. И тебе тоже. – Он положил секирку обратно в сундучок.

- Спасибо! Мама, папа, вы у меня такие... Самые лучшие, – и Света опять раскололась рыданиями. – Я... можно слетаю к Диме, скажу ему, что... ну, что...

- Давай, лети. Недолго только.

- Осторожней, дочка.

Света вышла на балкон, растворила двери. Было уже темно. Она откинула посадочный трапик, и сильно оттолкнувшись, прыгнула вверх, расправляя крылья. Аполлон Иванович запер дверь и вернулся в комнату. Жена плакала.

- Вот и все, – в сотый раз сказал он и, усевшись на ручку кресла, неловко обнял Зарену.

Было тепло: подземное солнце благословило ночь весенними невидимыми лучами. Крылья Светланы обнимали мягкий воздух. Она пролетала над высокими домами, деревьями и серой землей, уже забывшей поступь человека. Вдруг от бара «Эдем», построенного в новом стиле, без лестниц, отделился парень и одним махом догнав ее, полетел сверху, чтобы не получить удар крыльями. Это был Ярослав, коротко стриженный, мускулистый блондин, который жил в соседнем доме.

- Свет, куда летишь?

- Куда надо.

- Нет, мне нужно с тобой поговорить. Недолго, потом – лети, куда хочешь.

Видя, что он от нее не отстанет, Светлана нехотя согласилась. Они влетели на посадочную площадку «Эдема».

- Ну, чего тебе?

- Света, я знаю, что ты встречаешься с бескрылым.

- Ну и что же? Тебе какое дело?

- Свет, я тебя давно знаю. Мы же вместе выросли. Ну... И пацаны все тоже говорят... Я, только не думай, я не из этих, – он ткнул пальцем в сторону, где висел плакатик, коими был уже облеплен весь город. На листе бумаги был нарисован суровый юноша с мечом. Крылья его были огромными и обнимали весь текст, написанный ниже: «Рожденным ползать – бескрылую жизнь!» – Я только не понимаю, тебе что, нормальных парней что ли не хватает? Ведь полно же!

- Он нормальный, понимаете, нормальный! Такой же наш парень, его предки всю жизнь тут жили! Только крыльев нет! А в остальном он такой же, даже лучше!

- Он! Свет, я просто хочу тебя предупредить.

- От чего?

- Ну... Сама все понимаешь. Я все сказал. Лети, куда хочешь. – Он вошел в бар, хлопнув дверью так, что у сердитого меченосца все всколыхнулось. Света тяжело вздохнула, и бросилась в небо. Воздух ласково принял ее, подружески обвевая теплыми потоками. Она понеслась на окраину города, где в низкоэтажных общежитиях жили бескрылые.

В «ползунских домах» не было балконов. Светлана опустилась на землю, вошла в подъезд и поплелась вверх по лестнице.

Деметр не ждал ее. Он был голый по пояс и смазывал перекистью водорода огромную ссадину на плече. Глаз его опух и налился черным кровоподтеком.

- Дима! Что с тобой случилось?

- Не видишь, что ли? Известно что. И машину всю разбили. Прямо кирпичами. Я ее только всю доделал, а они... Все вообще разбили.

- Димочка, я родителям все рассказала. Они сказали, ну, в общем, разрешили! Я, Дима, я хочу быть с тобой!

Деметр тяжело вздохнул.

- Ой, Света, Светочка моя милая... – он нежно поднял ее сложенное крыло и поцеловал самый кончик. – Я тоже хочу быть с тобой, но уже сейчас начал думать, так ли это надо для тебя.

- Как это?

Он чмокнул разбитыми губами.

– Ну... Раньше я каждый день Велеса благодарил за то, что тогда у тебя сумочка упала, ты на землю опустилась, и мы с тобой познакомились. А нынче я уже думаю, может, лучше и для меня было, и самое главное для тебя, если бы ты тогда несла сумочку под мышкой, а не за ручки?

- Не надо! Не смей так говорить, – с каждым ее словом из глаз вытекали слезы. – Я люблю тебя! И у нас все будет хорошо.

- Не знаю, – Деметр тяжело выдохнул, – не-зна-ю. Я тебе еще не все рассказал. Наш дом расселяют.

- Как расселяют?

- Обыкновенно, как! Расселяют и все тут. Будут здесь строить какую-нибудь шнягу.

- А... а куда же ты теперь?

- Не знаю. Дома для бескрылых сейчас не строят больше, а наших районов только два было в городе: вот этот и еще на Маяке. Наш сносят. На Маяке жилья не найдешь, там и так сто человек в одной комнате живут. То есть, найти-то жилье можно, в казарме – но туда я тебя не повезу. То есть, полу-

чается, жить нам будет негде. А если мужчине некуда привести свою жену – то что это значит?

- У нас можно жить.

- Как я туда буду попадать? По веревочной лестнице? Мне ее быстренько перережут.

- Ну, а это... Можно на первом этаже квартиру снимать. Там-то ты заберешься. Или попросить, чтобы с нулевого этажа какой-нибудь люк прорезали.

- В башке мне люк прережут! Вот такенный вот! Света, что ты говоришь! Чтобы я жил в доме для крылатых? Если меня здесь-то уж отпанахали, вон посмотри как, машину расхерачили, как консервную банку, то там-то что будет? Мне в принципе что, я не боюсь. Плавали – знаем, как говорится. А ты? А дети, если появятся?

- Ты совсем как папа говоришь! Ну, давай в деревню полет... пойдём, то есть.

- В деревню... Да я тоже про это думал. В деревню... Я знаешь, почему оттуда уехал? Ты была вообще хоть раз в деревне?

- Нет. По телевизору видела.

- Что ты там видела? Ты же сама знаешь, что там только говно показывают. По телевизору. Там только и показывают, как там все, типа, когда хлеб убирать надо! Кушать-то все хотят, крылышки кормить. А все остальное показать? Как там бухают? Как дерутся, как режут друг друга? Как трахают все подряд, и детей, и коз, а потом режут?

- Дима, что ты говоришь вообще? Мы что, в каменном веке? Как, в этом, Содоме и Гоморре?

- Какая Гоморра! Гоморра – это для нас как рай, там хоть людям что покушать было! Да что ты, думаешь, я хоть слово придумал?

- Не знаю...

- Ну и что, ты хочешь отсюда, от всех этих кинотеатров, ресторанов и все такое, туда? Там, в моей деревне, бар только один, его так и зовут – Бар, как Бога. И все туда вечером идут. И клуб там только один. Вот и все развлечения: Бар да клуб. Там этих ваших храмов солнечных золотых нету! У нас только чурь Велеса, бородатые, волосатые – в лесах стоят. И волхвы наши не носят белоснежных нарядов, они пьют как свиньи, и одеты в грязные лохмы. Вот как! И хочешь все, что есть у тебя, променять на вот это? И я, думаешь, этого стою?

- Стоишь! Дима, я с тобой пойду хоть куда! Думаешь, ты меня напугаешь? Нет! Ты смелый и сильный. Мы будем жить в деревне, сажать зерно, продавать. Потом купим грузовик, трактор, все-все, построим новый домик. Ведь везде, все, кто хорошо работает, может жить нормально! И дети у нас будут! А какая нам разница, что все вокруг пьют?

Деметр опять вздохнул, по сердцу у него кто-то бил колотушкой от похоронного барабана.

- И почему я бескрылый? Как бы сейчас все было хорошо! Я знаю, говорят, после смерти все крылатые... – он обнял ее, запихав руку под крылья, покрытые нежными волосиками.

- Дима! – Света закашляла остатками слез – ты что, хочешь меня совсем расстроить? Я... я не смогу жить без тебя, я сразу умру!

- Я не умру. Не бойся, я не умру. Потому что все равно, я-то знаю, после смерти пойду на бескрайние Велесовы пастбища, отдыхать после своей уродской жизни, а ты – наверх, к солнцу, продолжать праздновать и веселиться!

- Нет, Димочка, нет! Мы всегда будем вместе! Если... если нас разлучат, я, как девушка из той легенды, сложу крылья и брошусь из дома на землю! И разобьюсь вдребезги, только бы быть с тобой навеки! Ведь Земля – тоже моя мать, так же как и отец – Солнце ясное!

-17-

Они, взявшись за руки, вышли из дома и встали на пустыре. Земля была сухая, еще не успевшая превратиться в грязную хлябь. Жухлые от зимней дремоты травы неспешно покачивались от игристого причесывания ветерка. Солнце, огромный, в полнеба, исполин, пробуждалось, заспанно выползая из-под тяжелого одеяла. Весь виднокрай был выкрашен в червонный цвет, словно с солнца стекал пот, насыщенный и густой.

Посередь пустыря стоял темный, покрытый уже болезнью чур Велеса. Старый бог грозно смотрел из-под густых насупленных бровей, изъеденных коростой.

- Отче Велес! – закричал Деметр, прислонив правую руку к сердцу, а второй крепко сжимая трепещущие пальчики Светланы. – Вот я, стою пред твоими суровыми очами!

Клятвы полагалось говорить на старом слогe.

– Я... – он сглотнул. – Света, я не могу говорить. Давай, может быть, потом, может, ты еще передумаешь...

- Нет, мой милый, нет. Говори.

- Слава тебе отче Велес, отец мудрости, водчий могильный! – Он опять сглотнул и сжался, как кулак. – Я, сын твой, Деметр из рода Медведя, беру здесь и сейчас в жены Светлану из рода Вапая. Пусть каждое слово мое ляжет на твою требницу словами нерушимыми, вечными. Клянусь беречь и холить ее, клянусь каждой части своей плоти и всей своей сущности умять ее горести, приукрашать всю жизнь ее и дарить ей во благо все, что есть у меня. И пусть любовь моя к ней не угаснет, пока соприкасаются ноги мои с Землей-матушкой, ни на миг, ни на удар сердца. Когда же перестанет оно биться, прошу тебя не разлучать меня с ней, и да будет так во веки веков.

- Слава тебе, Солнце красное, око Дажьбожье! – Светлая ярь вдруг вошла в Светлану, и подставив лицо, еще опухшее от слез, внимательным лучам, она кричала радостно и восхищенно. – Слава тебе, Дажьбог, дед наш, податель благ, тепла, и света ясного! Я, Светлана из рода Вапая, беру в мужья Деметра из рода Медведя. Клянусь перед трижды светлым взором твоим быть ему верной женой, блюсти честь его и делать все, лишь бы ему было хорошо. Клянусь разделить все тяготы жизни его и быть рядом с ним в минуты радости, чтобы стократ ее умножить. Клянусь дать ему столько детей, сколько пожелает сердце наше, вырастить и воспитать их, так, как заведено дедами нашими. Тако было, тако еси, тако буди и ныне, и присно, и навеки.

Солнце протянуло к ним свои руки и Велес, торжественно опустил тень свою перед их ногами, дрожащими от утреннего холода и возбуждения.

- Все. Давай требу.

Светлана достала из пакета пластмассовую бутылку с пивом и завязанный мешочек с зерном. Деметр вытащил из хозяйственной сумки две баночки из-под детского питания -- одну с медом, другую с березовым соком.

- Примите, пресветлые наши боги, дары от всего нашего чистого сердца, ибо теперь оно стало одним и бьется в одно дыхание! – Деметр, склонив голову, вылил пиво наземь и, когда земля, улыбаясь и булькая, выхлебала всю ячменную лужу, высыпал туда пшеницу.

- Искренне подносим вам это, не для того, чтобы замилостивить, но чтобы восславить вас! – и Светлана распахнув крылья, выплеснула в небеса мед и березовые радостные слезы.

В бытии что-то неслышно щелкнуло. Солнце, пробуждаясь, озарило розовой окраской лица новобрачных.

- Я люблю тебя, моя милая жена!

- Я люблю тебя, мой ладо. – Они обнялись. Они смотрели друг другу прямо в глаза, перебегая взором из одного в другой, почти соприкасаясь носами.

- Теперь я целую тебя, как мужа.

И муж и жена впервые поцеловались, крепко, но целомудренно.

Солнечное небо обнимало землю так же крепко, как хохочущий брат юную сестру, как могучий сын обнимает старушку-мать, как Деметр обнимал свою Светлану. И даже черный Велес, казалось, улыбался, озаренный приветливым солнцем, своими грубо вырезанным из ели губами.

-18-

Солнце выстелило на выщербленном асфальте дорожку, на бутылочных осколках задиристо плясали зайцы, подмигивающие бриллиантами. Деревья трепетно махали вослед своими ветвистыми руками.

Муж и жена вступили на тропу, узкую в светлом начине, но расходящуюся вширь, и вдалеке обнимающую всю землю, как и родитель ее – Солнце.

Они пошли, крепко держась за руки, она расправила крылья, и они блестели от лучей, что отражались от заспанных окон. Земля заботливо подставляла свои ладони под шаги, что должны никогда не останавливаться.

Они шли вперед, и не видели, да и не хотели видеть пятерых парней, паривших вдали над домами и сжимающих в мускулистых руках червлёные биты для лапты. Не видели они бульдозеры и краны, что вероломно крались к еще не пробудившимся лестничным домам.

Они шли по Земле, озаряемые Солнцем.

И улыбались.

МАЛ И МЕДВЕДЬ

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА В ОБРАБОТКЕ РОМАНА ВОЛКОВА

Когда-то, давным-давно, когда золотое яйцо мира было еще совсем юным, жили в наших лесах два брата.

Старший был высок ростом, не особо красив на лицо, покрытый мягкой бурой шерстью. Он и одежду не носил из-за этого – волосы спасали. Был он, не то что глупый, а скорее тугоумный. Даже не особенно говорил, скорее ревел (уж больно глотка у него была здоровая). Если чего надо, он и жестами мог объяснить, кому надо – все его понимали. Но силой его уж точно Боги не обидели: мог на бегу лося догнать, прыгнуть со всего скоку ему на хребтину и задавить в лапищах. Бортничать он тоже любил, за то даже ему имечко дали – Медведь, чуял он, где пчелы дупло облюбовали, куда лезть, а куда лучше и не соваться. Иногда он даже рыбарил. Долго сидел у воды, спокойно и внимательно вглядываясь в темную воду, и вдруг – щух! – и не углядишь огненосного рывка! – и вылетала наземь или на лед рыбина с растерянным рылом. Еще по весне, на березень, в роце выберет березушку посочней, поклонится, извинится, чиркнет когтем по стволу и пьет, целует-обнимает. А потом обязательно глиной замажет – чтоб не кровоточила.

Младший был светловолос, с короткой полумесячной бородой. Ходил он в полугрубых звериных шкурах, намертво сшитых жилами, в кожаных штанах и сапогах из собачьей кожи. Леса ему не нравились: темно в них больно да волгло, так и жил на опушке, до братана – пять минут бегу. Стояли у него ульи, была пара свиней на убой и хряк с хавроньей на семя, корова была. Охотиться он не жаловал: здоровьишком не вышел. Потому и мясо ел только по великим праздникам, если у кого на мед обменяет. Иногда только, если медовухи хлебнет хорошенько, в кустах спрячется с луком либо с пращей, и коли увидит какую зверюшку невеликую, что сдачи не даст, шибанет в бок и улыбается. Но зато кому что, а ему Велес дал на гусях играть – никто лучше не умел. Как почнет их колдовать, струны стонут, сам поет-душу тормозит, все только и рты разевают. Звали его Мал, хоть и возрасту три десятка перевалил.

Братья дружить особо не дружили, но на праздники собирались, общались. Сядут так, на скамье, мед кушают, молоком запивают. Медведь лапами машет, мол, ульи твои – грех один. Пчела-то хоть и махонька, а волю любит. Мал ему:

- Род его знает, живет вроде, мед дает.

- Э, нет! Дикий мед слаще!

Жила с Медведем молодуха по имени Весна, уж, почитай, годков пять, он ее от вепря спас в буреломе, так и прижилась. Он хоть с ней и не очень ласков был по причине характера своего нелюдимого, но в обиду не давал и от работы тяжелой всегда ослобонял. А чего еще бабе надобно? А после уж так и слюбилась с нею. Растянется Медведь на спине, лапы под головушку положит, раскидается, как маленький, а Весна ляжет ему на грудь и пузко гладит:

мохнатое, шелковистое. А как если к ней оборотится, то дыхнет жаром, медом и травами.

Спать-то спал с ней муж, да только и всего, не любилась, как положено. Говорил, мол, чего зря баловаться, детей нам все одно рано иметь. А коли жинка наседать на него начинала, то отзывался, мол, молодой я еще, не готов я к детям.

И тут, на Дажьбога, гулянье было. Медведь на них не больно ходил: косолап был, плясать не умел. Да и песни ему петь не удавалось. Ну и не пошел тогда тоже, дал жене меду, чтоб девок угостила, а сам на охоту отправился. Ну, а Весна – сама молоденька, косы заплела, ленты разноцветные вплела, румянами накружилась, белилами намазалась, стала как куколка купальская. Обула сапожки новые красненькие, чтоб плясать – пыль выбивать.

Приходит на поляну, все только ахнули – такая пригожая! Весна-красна! – кричат. Огонь возвели, требу справили, а потом играть начали. Парни на кулачки побились, потом хороводы водили, а потом и плясать начали, а Мал все на гусях играл.

Играет Мал на гусях, а сам все на Весну поглядывает. И вот спел он Дажьбожий кощун, Велесу порадел, а потом и за любовь петь начал.

- Ой, да Ладушка моя ясноокая,
Как гляну на тебя, только слезоньки
Из очей текут, ибо знаю я, что моя не ты.
Кабы ты сей час подошла ко мне,
Белу рученьку подала на грудь,
Я бы для тебя Солнцу в лоб всадил
Калену стрелу, чтобы лучики ручьем-золотом
Полились на нас, освятили нас,
Будь моей моя ладушка, для тебя, услышь,
Я на все пойду и отдам, все, что есть у ны!

Поет Мал, а сам все на Весну поглядывает, будто бы не песню поет, а для нее вещает. Зарделась молодуха, личико отвернула, а Мал только улыбается. Волос у него светлый, очи – синие, как трава небесная.

- Любо поешь, – говорит Весна.

- А ведь это мой кощун, сам сочинил, – Мал ей.

- Как сам!

- А вот так вот! Да это еще и не самый лучший. Пошли до моей избы, я там тебе еще спою.

Тут Вешенка наша призадумалась. Негоже мужней женщине по чужим мужикам ходить. Хотя что за муж – не венчались, вокруг дуба не ходили, так, живут и живут. Никто не осудит. Ну а что Медведь, он и не узнает ничего, а если и узнает, что ж с того, песни что ль не можно послушать? От самого-то и слова не дождешься, все молчит, как немтырь.

Так и пошла к Малу. Сели на лавочке, взял Мал свои гусли-самогуды. А тут как раз и Солнце заходить стало. Вышла на небо Морена со своим Солнышком, черным. Опустила ладони лунные на молодых. Запел Мал, застонал, закричал про любовь, про Ладу, про то, что все он для любимой сотворит. Взлетели слова его по всей земле. Улыбнулась Морена, обняла Весну, шепнула ей в уши слова заветные. Задрожала девица и прильнула к Малу.

- Холодно, здесь, пройдем в избу, – говорит ей Мал, – я тебя медом хмельным угощу.

- Дак я хмельного сроду не пила.

- Ну так попробуешь.

И прошли в избу.

А Медведь за полночь пришел с охоты, смотрит – темно в доме. Видать, жена спать легла, думает. Развел костерок, выпотрошил кабануху, порезал когтями на куски. Потом в листья обернул, травами присыпал и в угли положил. Зачерпнул медку из бадьи и сидит, похлебывает. Вскоре на весь лес, на всю весь запахло мясом жареным, сочащимся.

Отрезал Медведь самый сладкий кус, положил Роду-батюшке, а второй кусок – Велесу, скотьюму богу, что на охоте ему помогал. Взблагодарил их, восславил, потом по кусочкам в огонь и духам раскидал. А остальное мясо вынул, положил на пень, что во дворе стоял, травами-злаками лесными украсил, сбитня горяченького разлил в чаши. И стучит в стену, мол, жена, пошли вечерять! А оттуда молчок. Что такое? Взял из костра лучинку, заходит в избу, смотрит на постель – а там только шкуры смятые и нет никого. Посмотрел на пол – крови нет. Куда ж жена подевалась? Гулянья-то давно кончились.

Вышел во двор, ест мясо, а оно горьким кажется, пьет мед, а он еще горше, так и нейдет в горло. Походил по лесу, поискал Весну. Так и нет ничего. Ну, что ж, пошел спать.

Прошел день, второй, Медведь наш уж и охотиться перестал, места себе найти не может. Надобно, думает, к меньшому брату сходить. Он хоть в годах помладше, но по женскому полу более меня осведомлен, может чего и под- скажет.

Подходит к избе, глянул в окошечко, да так и обмер: видит, Весна в грязном переднике стоит у печи с ухватом, а Мал сидит в одной исподней рубахе за столом и из братины пиво хлыщет. Он аж ревнул тихонечко, те чуют неладное, глядь в окошко, ну и сразу его увидали. Замешкались, но Мал сразу собрался, выходит на улицу.

- Здорово, брат.

- И тебе того же. Ты что ж это – жена-то чего у тебя делает. Я уж весь лес ее обыскал.

- Так это, брат, зашла песни послушать, да и прижилась чего-то.

Боялся, конечно, Мал, что даст ему Медведь буздыган по сопатке, так и дух вон вышибет, да знает – Весна в спину глядит, платок теребит.

- Да как же так! Веснушка, да как же! Да как разве я тебя чем обидел? Да разве я тебе мяса вволю не давал?

Тут Весна вышла и отвечает:

- Ишь, как сразу заговорил! А раньше-то словечка ласкова и клещами с тебя не вытащишь! Мясо-то, я тебе не волчица! А Малушка мне песни поет, говорит ласково, хоть и мяса не видала у него ни разу, дак все равно назад к тебе не пойду.

А Медведь ушел, добавила:

- Слышал: соловья баснями не кормят. Я хоть у Медведя вволю ела. Теперь уж и сама не знаю, чего я к тебе пришла.

Тут Мал обнял ее, опростоволосил, по голове гладит, целует, стихи шепчет, она вроде и оттаяла. Потом взял ее на руки и отнес на кровать, тут она и решила остаться.

А Медведь крепко огорчился, целый день ходил смурной, только бошку чесал. Потом подошел со двора, когда Мал свиней кормил, и говорит тихонечко:

-Мал, слышь-ка, а научи меня на гусях играть. Авось верну я к себе жену-то.

А тот только с кровати встал, опустошенный весь, словно через соломинку его выдули.

- Дай-ка лапу,- говорит. Тот сунул через плетень, Мал взял, перевернул, и говорит, – э, нет, не выйдет у тебя ничего. Ты когтями своими лося наполю разшмотаешь. А тут – гусли! Там же струны, они музыку рожают, к Богам тебя превозносят. А ты не то что гусли, ты и пенек, на котором их положишь, разчетвертишь.

Медведь глянул – и впрямь, не когти, а мечи засапожные, особенно когда лапу напряжешь. Видит, у Мала в руке топорик, он в саду кустики подрубал, так и брякни ему:

- А можешь ты, брат, мне когти поподстричь немного? Чтоб хоть самый простой кощун для Весны я спел.

- Чего ж не смочь? Сунь лапу вон в забор, между досок. – Сунул, зажал Мал ему лапу покрепче, чтоб не дергалась. И тут уж сам не знаю, не то Чернобог ему очи синие замкнул, не то сам чего плохое удумал, только – хрясь! – он топором прям по лапе чуть пониже локтя и отрубил всю. Вскрикнул Медведь, а вылезти не может – доски не пускают, заревел на всю округу, аж Солнце вздрогнуло. Деревья затрепетали, Ветер Стрибожич завихратился, пыль-листья вскинул до небес. Задрожал Мал, схватил лапу рудяную с земли и бежать к дому.

Вбежал, в сенях закрылся, стоит, трясется, нож из-за пояса вынул. А Весна из избы:

- Не с охоты ль? Уж не могу боле я с твоего молока. Скоро в козу превращусь. Коли любишь меня, так и силу мне давай.

Глядит Мал в щелку: вырвался Медведь и прочь кинулся, только кровью льет во все стороны. Взял он нож покрепче, лапу на стол положил, и говорит Весне:

- Будет тебе сегодня сила, накормлю я тебя мясом свежим. Да еще и шкурку дам – попрядешь хоть на носочки.

- Спаси тебя Род, любимый, подарю и я тебе сегодня такую ночь, что ни в одной песне не слыхивал.

Доскакал Медведь кое-как до дома, чует, руда из него течет, как из земли сырой ручей. Пал наземь да и сунул обрубок свой в угли, зашипело тут, пахнуло, только кровь унялась. Потом кой- как тряпками перемотал, зубами затянул, передохнул. Ну как пару дней прошло, запеклось у него там все,

встать попробовал, а не выходит. Вышел он в подлесок, вырвал липку по-толще, прямо с корнем, обтесал ее и приладил к культе.

Подошел к Маловой избе, видит – лучина горит. Встал он под окном и тихим рычащим шепотом запел:

- Костыль моя ноженька,
Костыль-колтуношенька,
И Вода-то спит,
И Земля сыра спит,
И по весям спят,
И по деревням спят,
Только Мал с Весной,
С моей женой, не спят,
Мою шерстку прядут,
Мою костку грызут,
Мое мясо едят,
Мою кожу сушат!
Мал, отдай чего взял,
Пока сам не отнял!

Весна-то не услышала ничего, а у Мала ушки на макушке были, сразу понял, что к чему. Отошел он тихонько в сторону, пока молодуха не видит, и спрятался под корытом. А Медведь вошел в сени и опять:

- Костыль моя ноженька,
Костыль-колтуношенька,
И Вода-то спит,
И Земля сыра спит,
И по весям спят,
И по деревням спят,
Только Мал с Весной,
С моей женой, не спят,
Мою шерстку прядут,
Мою костку грызут,
Мое мясо едят,

Мою кожу сушат!
Мал, отдай чего взял,
Пока сам не отнял!

Тут Весна услышала, веретено бросила, смотрит, а Мала нет нигде. Как догадалась она, что за мясо ела, ее аж мутить начало. Пала она на колени, голову руками закрыла, а тут уж Медведь в светлицу вошел.

- Не губи меня, милый! Что хочешь, для тебя сделаю!

- Ничего ты для меня не сделаешь: охотиться за меня ты не сможешь, а прочее я и сам смогу!

Бросился на нее и задрал. Схватил потом и поковылял домой.

А Мал вылез из-под корыта и сто раз Рода взблагодарил, что жив остался. Только с братом они после того уж больше совсем не общались.

НОЧЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

- Кто там?

- Санек! Санек, это я! Игорян! Ну что ты там сопишь, отвориай ворота! Я это, Игорян!

- Ну чего?

- Санек, ты один?

- Ну.

- Катя уехала что ль?

- ...Уехала...

- Санек, слушай, у меня ж праздник сегодня! Праздник самый чудовой в мире, Санек! Сын родился у меня сегодня! А я у роддома внизу сидел-сидел на скамеечке, а потом – хоба! – и узнал, что Маша родила в девять вечера! Я... да чего ты, такой! Что, кудрявый, нос повесил? На работе что ль опять чего на твоей сраной? А?

- На работе, на работе. Ну что, поздравляю, Игорь. Поздравляю.

- Спасибо, Сашевич, спасибо, родной! Я здесь у тебя обувку оставляю, ладно? Короче, я пока там сидел на скамеечке, думал, сердце разорвется. У меня

Маша же здоровьем не очень... ты пиво тут – в холодильник сразу поставь, а то оно теплое...Теплое, скоты продали в «Огоньке», холодильник у них не работает... Саш, ну ты хоть, надеюсь, ничо? Не работаешь завтра?

- Нет, слава богу...

- Ну, ты красавец! Пора, Санька, отучаться по воскресеньям работать! Вот, короче, сижу я, не выдержал. Пошел в «Огонек» этот долбаный, купил «Мальборо» пачку. Опять закурил, представляешь? Курю, сижу, а время шесть только, у Машки схватки где-то в обед начались, дома хоть хорошо были. Ну, я сразу скорую вызвал, и нас сразу сюда, в роддом отвезли. Хорошо, хоть с тобой рядом. Ну, ее сразу наверх, мне говорят: вот Бог, вот порог, ждите! Не положено, ептыть! Я и сел на скамеечку там, где елка, помнишь, еще бухали там – я, ты, Вован Поэт, Дима Слепов, Макс Толаев и девчонка с Бостона? Помнишь, еще портвейн саратовский за восемнадцать рублей пили? Помнишь, Вован еще коробку на голову надел и по городу ходил, говорил, что это шапка Покемона?

- Помню, помню.

- Ну вот, сижу я, сижу и хрен его знает, чего там у нее. Сидел-сидел, ну, ничего ни читать не могу... да я сам разберу, сиди, сиди, тебе это все предстоит еще, слушай... я, это, говорю, книжку взял не могу читать ни хера и все тут! Волнуюсь, блин, не представляешь как! А время, смотрю – уже три доходит, четыре, пять... У меня уж во рту горькое все стало от папирос, всю скамейку заплевал, потом думаю: надо выпить чего-нибудь горячительного! Пошел, в «Огонек», купил водки шкалик, сока томатного и сыр такой, знаешь, скрученный. Ну, такой желтый.

- Охотничий.

- Да, точно. Да подожди ты! Какой нетерпеливый! Сейчас расскажу, и приступим. Вот, только я это шкалик опорожнил, так сказать, сразу и страх у меня ушел, и легкость сознания появилась, я сразу к регистратору – шмыг! – и она мне – что?

- Что?

- А то! Родила в девять часов двадцать минут мальчика! Три шестьсот пятьдесят! Поздравляем, дорогой отец Игорь Романович со счастливым фактом! Я чуть не обосрался от радости! И с Машкой все в порядке, говорят, родила, играючи! И тут я сразу, Санек, про тебя вспомнил. Смотрю, а там же видно от роддома, окна у тебя горят. Я только не знал – ты с Катькой или нет. Ну, да же если и с Катькой – то чего же? Что она против, что ли будет? Ну я пошел, и взял пива, водки – смотри какая! Никогда, наверное, такую не пил! Давай-ка стопочки!

- Не, не пил. Я, Игорь, на старлейскую зарплату, знаешь, не очень-то...

- Ну вот, выпьешь как раз! Не, ну а чего, что же мне, одному в четырех стенах сидеть и жрать, что ли? Правильно? Ты водку сунь пока в морозилку. И вторую. И текила еще, бутылку тоже взял. Я только не знаю. Ее, наверное, не надо в холодильник. Ну, ничего, если не выпьем – оставим на потом. Ну, вот там – салатики, колбаска... А я, Саньч, зарплату как раз получил большую! А вот сыр этот, сок грейпфрутовый... Это – самое то с водкой! А вот гриль, осторожно, горячий еще. Я, это, не знал, там есть у вас чего дома или нет, сразу взял весь магазин там. А чего! Праздник-то какой, Саша! Вот огурчиков банка, грибочки, зелень у бабок купил, рыбка. Это – осетер, кстати. Сейчас мы его с пивком сначала пожрем, пока водочка остудится. Жирный, да? Ну что, Саша, давай, а? Как в старые добрые времена! У тебя Катя-ка-то что, куда уехала что ли?

- Угу.

- Санек, ты забодал уже. Угу-угу, как сова, блин, чухонская. Ну, это мы сейчас быстренько вылечим. Щас текилки хлопнешь – живо настроение улучшится! Сейчас... Так, смотри я тебе как сделаю – во как! С соляным язычком! Так, лимончик... так... От как! Как в ресторане! Я же это, выпил уже, так что тебе нужно меня догнать! Я тебе сейчас...о! Всклинь, по-хрущевски, как у меня батя говорит! С горкой! На-ка, штрафную! Потом гитару! Эх, Саня!

- Игорь, я чего-то не очень как-то...

- Я тебе дам не очень! Не очень! Давай-давай, Саша, я тебе реально говорю, выпьешь – и все путем будет! Позвоним щас твоему начальнику, как его там? Кузичкин?

- Куничкин.

- Вот, позвоним, я сам говорить буду, скажу, слышь, ты, Куничкин! Еще если хоть раз к Саше Голованову подойдешь – тебе кобздец настанет. Поал?

- Ага, щас. Куничкин тебя на одну руку положит, другой прихлопнет – мокрое место от тебя останется.

- А я убегу от него.

- Не убежишь, у него разряд.

- В жопе у него разряд будет. Двести двадцать на триста восемьдесят. Ну, давай, Саня, я с тобой пивом чокнусь. Ну, давай, как там твои друзья говорят? За нас, за вас, за Северный Кавказ!

- Ладно. Поздравляю, Игорь. Молодец.

- Спасибо, Саня. Ну вот, блин, я как стара бабушка уже стал, слезы в три ручья...Как текила?

- Самогон самогоном. У Данишкина и то лучше. Бр-р-р...Силен, бродяга!

- Ну, вот, а ты говоришь... Давай-ка еще, для закрепления позиций... Так, я с тобой сейчас тоже выпью маленько, побольше тебе налью...Ну, давай, братуха. Давай, дорогой. Санек, ты не представляешь, я ведь вот жил пока с Машкой, какие-то у нас потом отношения стали, ну, знаешь, так – не пламенные, как раньше. Лодка любви разбилась о быт. И знаешь – вот родила она, и лодка эта разбитая превратилась во фрегат с алыми парусами. Так ее люблю, что угодно для нее готов сделать. В костер за нее готов прыгнуть. Я знаешь, вспомнил, как познакомился с ней. Я не рассказывал?

- Нет.

- По-дурацки так все вышло. Зима была, а я еще молодой тогда был. Лет семнадцать. Точно – первый курс, семнадцать лет. Я бухал тогда – будь здоров, ну, сам помнишь те времена. И вот, спускаюсь с клуба «Рокабилли», еще помню, группа рокенрольная выступала из Финляндии, «Лапландик» называлась. Отстойная такая команда и я с горя там выпил маненичко. И иду с клуба к остановке и девушка впереди идет незнакомая, тоже выпимши слегка. И снег такой мокрый шел, под ногами лед тает, грязь какая-то, темень, и слышим – динь-дон! Трамвай едет. А поздно уже было, транспорт редко ходил и мы – бежать. Бежим, а там горочка и девчонка поскользнулась, и как грохнется! И еще так некрасиво упала, неэротично! Как мешок – бабах – прямо на пузо! И скользко еще и она руки-ноги расставила, как морская звезда, крутится и едет вниз! А там лужи, грязища! Я остановился, смотрю – а она на карачки встала из лужи, грязная, как чушка, и трамвай ушел как раз. А она меня не видит, и как начала матюгаться, как солдат музыкантской команды! И так и стоит на карачках и вся шняга с нее стекает. И я, нет, чтоб посочувствовать, как начал ржать! Сейчас вот вспоминаю – вот подонок был! И картина – стою, ржу на этой горочке, она – внизу на карачках! И я спустился, она злющая, грязная, и тут, еще помню, дебильный поступок совершил, чтобы она не расстраивалась. Нет, чтобы помочь – взял и сам в лужу эту плюхнулся! И вот мы стоим друг напротив друга, как черти и ржем. Вот так и познакомились. А у вас как было?

- А... Потом. Будешь курить?

- А ты что, прямо на кухне, что ли, куришь? Ну, Катюха приедет, вставит тебе пистон.

- Не вставит. Плесни-ка мне еще на донышко. О-хо-хонюшки...

- Ну что, ты сам-то как? Как на работе?

- На работе – чудеса и ощущение праздника! Вчера, короче, с инспекторами детской комнаты милиции ходил в шинок нарковский. Мы там изъятие делали по наводке, а эти – лишали прав материнства. Все обдолбанные, грязные, орут: да пошли вы нахер! Менты, козлины! Да мы мать твою имели!

- А ты?

- А я чего? Нет, говорю, господин нарк, не имел ты мою мать, ошибаешься. Тогда бы ты был моим папой, который умер от цирроза в звании майора. Вот так вот. А на той неделе на допрос ходил на зону. Ну, там по делу моему одному надо было. А этот черт, которого допрашивал, он спидозник. Кукушка совсем отъехала у чувака. И я пишу, вдруг он хоп! – и перестал говорить. Смотрю – он глядит на меня и скалится. А ты, говорит, симпотный мальчишка. Давай-ка я тебя укушу. Будем умирать вместе, как рабочий и колхозница.

- А ты? Страшно?

- Конечно, страшно. А только сам понимаешь: струсишь – и правда укусит. Усмехнулся, говорю, ну, пошутили и будет. Так вроде и отошел. А еще, майор вызывает из собственной безопасности, там, короче, на обыске в одной хазе взяли пять кило ханки. И в протоколе стоит пять кило, а фактически вышло четыре. В контору привезли, стали смотреть – нету! Исчезла ханка.

- А как так вышло?

- А хер его знает. Ну и майор говорит: я, мол, знаю, что не ты помыл ханку. Но зато я знаю стопудово, что тебе известен преступник! Ты ведь, товарищ старший лейтенант, прекрасно знаешь этого обортня в погонах. Скажи, будет тебе бочка варенья и корзина печенья, а то на тебя дело заведу. А нас там четверо было: я, Леха-капитан, и два летехи. А я-то ведь знаю, что это Леха-капитан спер, а протокол вел там Денис, рыжий черт, Леха не успел ничего переделать.

- Ну, и ты чего?

- Чего. Не знаю, говорю, товарищ майор, о чем вы говорите. Лехе-то чего страдать. У него двое детей, а зарплата только на пятьсот рублей больше чем у меня. Да еще новый начальник придумал по вторникам строевую подготовку. Маршируем, песню поем «Распрягайте, хлопцы, коней». Не в шесть нужно вставать, а в пять. И так по учебной тревоге вставали в три ночи, а тут еще и строевая. А еще захват был в на прошлой неделе, Саньке, может, помнишь его, он на Новый год у меня еще на гитаре играл, бошку топором отрубили. Устал я, Игореха. Устал. Надоело все. И денег еще нет, обещали слож-

ность-напряженность повисить, да так и наврала. Всех одноклассников своих почти пересажал, кто сам не подох – все скололись!

- Санька, ну, увольняйся тогда, иди на нормальную работу! Рисуй, сколько хочешь – кто запрещает-то! Или садовником иди, или на шоколадную фабрику конфеты дегустировать.

- Не знаю. Не люблю я конфеты. Зубы от них болят.

- Закусывай, закусывай.

- Эх, Игорь-Игорь, всегда ты везучим был. И жена у тебя такая красавица, и сын вон родился, и работа у тебя, блин, интересная, и бабло огребаешь лопатой... И квартира у тебя есть, а я в этой дыре прозябаю... Я не то, чтобы это, Игорях, я тебе по-хорошему завидую, по-светлому.

- Ну чего ты говоришь, Санька! Мы с тобой же вместе учились! Оценки одинаковые были. Я же тебя не заставлял в ментовку идти работать! Мне ведь тоже предлагали, но я-то отказался. А тебе тоже предлагали на завод идти, но ты отказался. Ну что, ты не знал, что в ментовке не платят ни хрена?

- Знал.

- Знал, что там говно будет?

- Знал. Да Игорюха, знаю я все. Знаю – сам все это я выбрал. И ты сам все выбрал. Непонятно только, почему так получается – что все у меня через жопу кувырком. Я ведь вроде правильно все делаю. Поменьше, поменьше – до рубчика лей, до затемнения. И должно быть как, я – старший лейтенант уголовного розыска, людей, блин, защищаю, ранен был два раза. И что? Толку что? Народ нас, ментов, ненавидит. Государство нас ненавидит...

- А поче...

- Не, не перебивай! Ненавидит – если бы оно к нам относилось, как мы того заслуживаем, мы бы ой не так жили!

- Зря ты так, Саша. Государство всех ненавидит. И пенсионеров, и бюджетников, и нас, сельхозников. Все в дерьме живут. Все подвиг совершают. Неоплаченный.

- Сельхозники на ножи воровские не ходят. С человеческими отбросами не беседуют сутками. В кабинетах тюремных не ночуют.

- Задрал ты уже, Саша! Зато сельхозники чеченов из тюрьмы в школы не пропускают. Сельхозники с винтарями своими стоят потом возле школ, на ментов любят!

- Игорь, ну зачем ты по больному режешь? Я, что ли, чеченов пропустил? Что, мои друзья в Чечне не воевали? Что, их в гробах не приносили оттуда? А ты видел эти гробы, а? А я видел, запаянные, как банки консервные. Тяжеленные.

- Это работа ваша! Ты знал куда шел. А дети в школу шли! И детские гробы намного легче ваших весят.

- Ладно, что мы это... Все я понимаю, Игорек. Все всё понимают. Давай выпьем лучше.

- Ой...Плесни мне сочку еще. Саша, мне ведь жалко тебя. Пропадешь ты здесь. Бросай свою ментовку нахрен, бросай! Это ладно, когда дед мой там служил, светлый образ дяди Степы, Анискина и Знаменского все вершил. Офицер милиции тогда королем был! А сейчас – ну все же понимают, кто виноват, почему чечены вместо тюрьмы на лихом коне оказались. И почему таджики среди бела дня наркотой торгуют. Взятку сунул – и все в порядке.

- Да сейчас не только в милиции все с головы на ноги встало. А голова-то совсем сгнила! Знает начальство и где Басаев, и где Масхадов прячутся. Чечня-то не такая большая. Знает, что школу захватят, знает, что метро взорвут. Все знает! Только команда поступила: пусть так будет! Сейчас, погоди.

- Ну вот, что тебе звонят посередине ночи? Ведь наверняка не любовница, а? По работе поди опять, какой-нибудь мудака. Да? Ну, что язык проглотил, нака, садани стакан. А то опять вижу, расстройчивость на тебя нахлынула. Во, правильно. Я чего говорю, то – ведь никто об этом не знает. Все-то думают – вы виноваты.

- Как же! Саша Голованов виноват! А про Президента все позабыли! Ты посмотри – все газеты, во всех газетах – дети в крови все! Начиная от «Правды» и кончая «Секс и Криминал»! Везде голенькие дети в крови! И на соседней странице – какой-нибудь «Наркоман изнасиловал столетнюю мать» или «Сибирская почтальонша спит с доберманом». Для кого это, а? Для родителей? Родителей порадовать, блядь? Или это для тысяч некрофилов, которые высунули свои слюнявые языки и трут свои вонючие яйца? А самый главный некрофил – это наш Президент!

- Ну вот, понесло. Саша, давай тему закроем.

- А чего! Чего бояться-то? Ждать пока всех перетрахают, взорвут и перережут? Знаешь, Игорь, вот немного еще ждать осталось. Ствол у меня в конторе

в сейфе, ладно, здесь топор мясницкий есть. Выйдем на улицы, будем жечь костры. На фонарные столбы набросим петли и начнется! И не через год, не через месяц, а скоро! Завтра!

- Саша, Саша! Уймись, сядь. Кого ты вешать-то будешь?

- Не я, Игорь. Народ будет. А народ у нас на самом деле не пьющий и не дурак. Это так про него в телевизоре говорят. Народ сразу поймет кого – в петлю, а кого – на плаху.

- Ой, Саша, не надо.

- Чего не надо? Все пойдут! Напротив меня живет Саша тоже, клоуном работает за копейки, подрабатывает в кабаках, чеченских деток смешит. Пойдет. Слева – Серега, дворником пашет на трех работах, всю семью кормит – побежит! Справа живет Ромка – слесарюга на шиномонтажке азерской – с мониторинжкой поскачет! А я – первым пойду. Первым, Игорь!

- Саня, пить с тобой, блин – только праздник портить! Вредит тебе холостая жизнь – крышу всю срывает! Вот Катюха прие...

- Нету у меня праздника! Не приедет Катенька моя никогда! Метро вчера взорвали, слышал? Только что сказали: по клочкам кожи опознали – анализ ДНК делали! Ничего от нее не осталось, только вот, глянь! Смотри – часики остались только! Тик-так – идут еще, слышишь? Мало еще ждать осталось!

ПРОЩАНИЕ С СОЛНЦЕМ

Меня сегодня решили переселить в другую палату. Неясно, хорошо это или плохо. С одной стороны, я избавился от соседства двух дедов: одного совершенно невменяемого, который валялся слева от окна, и другого – среднестатистического кретина – который спал от окна справа. Сначала мне, как самому молодому и новенькому, досталось лоховское место у двери, которой хлопали по моей койке, когда открывали. Напротив меня лежал Саныч – крепкий мужчина, бывший офицер. С ним было иногда интересно пообщаться, но в последнее время ему стало совсем плохо, он часто терял сознание, плакал, а по ночам иногда выл. Сначала это было непривычно, и если бы деды меня не предупредили, я бы обосрался со страху. Я засыпал легко и без проблем, но от скрипа кровати все же проснулся. Такое было ощущение, что Саныч скачет на кровати, как пацан в пионерлагере. Двери у нас оставляли открытыми и я оказался в такой нише между стеной и дверью, и так и не смог выяснить, в чем дело.

- Щас выть начнет, – авторитетно заявил дед слева. Я не понял в чем дело, но в принципе уже был готов к чему-то нехорошему. И не зря.

- А... а... горит, горит, сука! Горит, ааа! – орал Саныч. Потом он громко заорал своим поставленным командирским баритоном без слов, до бульканья в горле; и его крик трепыхался в палате, бился о мои уши, достигая до Луны и до купола вселенной, изменяясь со стоны-пения до протяжного воя.

Привычно вбежали медсестры, стали колдовать у койки Саныча, а деды смотрели и кивали: правый мудро, но фальшиво, а левый – как игрушечная собачка с качающей башкой, которую толкнули пальцем. Было бы здорово, если бы я сел третьим, на столик, заваленный дедовскими харчами и тоже кивал, как-то по-особенному, выпятив губу, например, и закатив глаза. Но, увы, двигаться мне было как-то тяжело, и я не смог даже дверь открыть. Так и смотрел на дедов, и на отражение белых халатов в ночном окне с тыкающими пальцами черных веток.

После этого Саныч почти перестал со мной разговаривать. Только изредка бросал сквозь зубы что-то типа:

- Вадя, щас что у нас?

На этот вопрос можно было ответить тысячей ответов, а говорить мне тоже удавалось не очень, так что я или мычал в ответ или говорил:

- Хрен его знает, вроде среда.

Выл Саныч где-то раз пять через день. Последний раз врачи крутились вокруг него совсем долго и утром его перевезли.

Деды были безымянные. Они сами так сказали, мол, мы – деды. Меня это удивило, я кое-как спрашивал, как так может быть. Имена у них, конечно, были, и они их помнили, но почему-то синхронно не хотели, чтобы я их по имени называл. Я бы мог спросить у их многочисленной родни, но как-то расхотелось. На нет и суда нет.

Деды очень понравились моей жене. Она даже в очередной визит принесла им по мандаринке. Мне было тяжело говорить, но жена понимала меня прекрасно, как будто мы всю жизнь так общались. Я морщил брови и кидал недовольные взгляды на дедов. А потом как бы осуждающе качал головой, но только одними глазами.

- Ну, чего еще? – спрашивала Надя. – Что, ревнуешь?

Я насупливался и поднимал одну бровь, как Дональд Дак.

- Из-за мандаринов что ли?

Я кивал одними глазами, но как бы уже не так строго: догадалась, а значит, первая ступень прощения преодолена.

- Вадька, ты дурачок. Тебе что, жалко денег?

- Жалко, – с трудом отвечал я (и сразу от легких до начала языка все начало гореть). – лучше Игорешке отдай. Они уж и так ничего не понимают. А мандаринки им и так носят.

Перерыв... Вот лучше бы я чего дельного сказал. Но все, возможность израсходована, теперь придется молчать, чтобы отдышаться.

Я внутри отдышиваюсь. Не хриплю с высунутым языком, как собака или как Саныч, как-то под кожей это все происходит. У меня внутри язык высовывается, между сердцем и легкими, и хрипит, булькает, кидая слюни. Причем, что характерно, шлепать на ноутбуке у меня получается запросто. Вот что значит десятки лет за компом. Я сам его беру из-под кровати, сам поднимаюсь, это тяжело. А вот когда писать начинаю – то вообще без проблем. Руки так и летают. Только иногда голова выключается и пальцы начинают сами писать по клавише какие-то дикие буквознаки, так что потом приходится долго стирать и перепечатывать. Но это не беда – мы к этому привычные!

Сегодня перевезли в одиночную палату. У меня даже получилось лихо перекувыркнуться на носилки самостоятельно, и почти не задохнулся. Палата большая, длинная, с еще двумя койками без матрацев. Я нахожусь теперь на первом этаже, чуть ниже уровня земли. Видно прохожих. После обеда подходили дети, долго пялились в окошко и корчили рожи. Я им тоже корчил, причем куда страшнее, чем они. Они признали поражение и ушли.

Недостатки нового жилья, однако, серьезные. Раньше была возможность любоваться на дедов, и чувствовать свое превосходство. Дерево за окном приносило эмоции если не положительные, то, хотя бы, спокойные. А здесь прохожие, не понимающие своего счастья от жизни, наоборот, заставляют меня чувствовать себя тем, кто я и есть – подыхающей развалиной.

Плакал. Причем, прослышал, когда сестры куда-то ушли, и в коридоре стало тихо, и плакал, не как суровый матрос со шрамом на лице, а громко, с завываниями, сморканиями и всхлипываниями. С трудом потом вытирал следы такой слабости. Солнце светит, оставляя на полу лучи с пигментов краски от стекла.

Врач, молодой циник, когда я его спросил:

- Сергей. Скажите, неделю я еще протяну? – ответил, что да. И добавил:

- Вадим, вы не ребенок, и я тем более. Вам скоро будет совсем плохо. Постарайтесь сейчас все юридические вопросы уладить. А то сами знаете, потом семья замучается по судам и собесам ходить.

Но я все равно ему благодарен. Я спокоен, я готов. И сам Сергей поклялся, что жене ничего не скажет. Пусть хотя бы эту неделю она проживет более-менее спокойно. Наплачется еще. Я даже пока не говорил ей, чтобы не плакала, когда я умру. Только смеялась. А мне плакать не долго уже осталось.

Умирать не страшно. Даже интересно. Страшно понять, что ты прожил эту жизнь зря. Страшно, что поймешь это не только ты.

Гибнут стада,
Родня умирает,
И смертен ты сам;
Но смерти не ведает
Громкая слава
Деяний достойных.

Это Старшая Эдда. Викинги-отчаюги знали, что человек будет жить только в памяти людей. И жили они не сколько ради того, чтобы хорошо встретили там, сколько ради того, чтобы не забывали здесь.

Здорово умирать с шашкой на коне и с песней на устах, оставляя имя и память о себе на тысячи лет. Страшно умирать на простынях с дырками и штампами, елозя задницей по «утке». Страшно улыбаться жене и сыну, и врать, что стало намного лучше и планировать, где что будем сажать на даче и куда поедем в отпуск. Я в этот отпуск полечу куда как первее Нади, и вообще не факт, что там мы встретимся. Страшно жрать свои любимые голубцы и фаршированный перец, и представлять, как Надя их готовила на нашей кухоньке с красными шторами и скатертью в горошек и улыбалась.

Страшно умирать. Страшно вспоминать. Я понимаю, что прожил бессмысленно.

Жалко жену. Очень жалко – это наверно самый страшный пункт моей смерти. Сын – мужик, пусть растет безотцовщиной. Пусть растет злым, понимая, что нечего терять, что никто не поможет, никто не заступится. Я успел ему это сказать то, что выучил сам. Никого не надо бояться, только драться. Только драться, только вперед. Зубы вставишь, руки, ребра срастутся. Зато потом насколько будет спокойнее умирать! Я отчетливо вспоминаю всех, кто меня когда-то обижал и оскорблял. Детский сад, школа, институт, служба... Почему я молчал, почему отшучивался? Ясно, что все обидчики давно наказаны судьбой: кого посадили, кто из окна выбросился... Но как же страшно понимать, что ты умираешь трусом, побежденным, а не победителем! У сына тако-го не будет. Я научил его наносить самые основные удары: кулаком, локтем, коленкой и стопой. Ничего! Он не пропадет! Он мои ошибки не повторит!

А вот жена... Ей же, бедняжке, еще и с похоронами крутиться придется. Может, рассказать ей обо всем и будем вместе считать? Кого приглашать на поминки, какие продукты покупать, что на каких рынках дешевле, кто с машинами поможет? Как и что на стол выносить, где столовую выбрать? Звать ли на поминки тетю Машу, которая дура и всех нас достала? Звать ли оркестр и кто поможет с аппаратурой в столовой – Толячий или Леха Рыжий? Или все

же лучше дома? И будем еще с ней спорить, прыгая на продавленных пружинах моей койки: водку лучше в Кузнецке брать! Нет, в Нижнем Ломове! Она не паленая и нам ее Ануфриевы привезут! Что-то напоминает, да?

Конечно – свадьбу. Так уж выходит, даже похороны, поминки, тризна похожи на свадьбу и день рождения. Цветочек засыпает под снежным одеяльцем, а весной из него рождается новый цветочек.

Я глупо спорю сам с собой, пытаюсь доказать, что после поминок проживу еще хоть немного. Что запомнюсь людям хоть чем-то, потягивая свое смертное существование. Ведь человек так тянется к бессмертию, что сам не понимая этого, пытается творить, рожать, строить, лишь бы образ, сущность, матрица его хоть нанемного запечатлелось во Вселенной уже после того, как последний смрадный выдох осквернит ее. Но мне страшно, что даже и на поминки мои никто не придет. Никто не будет говорить таких проникновенных слов, что я говорил, провожая своих родных и друзей. Или что еще хуже, припрется какой-нибудь Шарон или Потап, с которыми я еще в школе перестал общаться. Придут и нажрутсЯ (обязательно нажрутсЯ!) и будут отпускать грязные шуточки. Наденька бедная... И ведь не выгонишь их.

Божественная Смерть! Дай снова нашим душам

Прильнуть по-детски к звездам на твоей груди

И нам покой верни, что жизнью был нарушен,

От Времени с Пространством нас освободи...

Вот что французы пишут...

Да, я пытался показаться мужественнее, чем был на самом деле. Приукрашивал. А кем я был? Да никем. Винтиком в государственной машине. Наверняка шеф мой – Роман Егорович (ну он-то точно должен прийти) так и скажет:

- Вадим Иванович был чудесным маленьким винтиком в машине отдела контроля и ревизий Министерства Финансов. И пусть он мало чего добился, мало чего достиг, но зато он остался честным и порядочным человеком. Двадцать шесть лет просидел этот скромный и доблестный труженик на выездных ревизиях. В одинаковых бухгалтериях за одинаковыми столами, прошел сложный путь – начал от проверки кассовых ордеров и авансовых отчетов и закончил журналами-ордерами! До Главной книги мы его пока не допускали – не хватало ему чего-то в голове. Но вот на таких скромных сотрудниках и держится величие нашей Родины!

Интересно, на мое место уже взяли кого-нибудь? Студента-неумеху по блату? Или татарина Рафика Наримановича, который просит, чтобы называли его Романом Николаевичем? Он сядет за мой столик, будет пить чай из моей

кружки с сердечками, а фотографию, где мы с семьей хохочем на даче, выкинет в ведро или напишет на ней красным маркером «FUCK OFF».

Моя красавица-жена не знает, что я ей изменял. Она у меня вообще очень наивная. Очень меня любит. Я ее тоже очень люблю, но все же если была возможность тайно наблудить, я сдерживался, но в меру. И вроде все сходило с рук, Надя ни о чем не догадалась. Серьезно, она не притворялась. Я не хотел ее никак обижать.

Может, как в анекдотах, следует ей обо всем поведать на смертном одре? Подсчитаем... одиннадцать раз! Ай, да я! Прямо герой-любовник! И все в командировках, в разных городах: Ижевск, Хабаровск, Майкоп, Мурманск, Новосибир, Владик... Подловато, конечно, но я почему-то нисколько не жалею. Даже развеселился. Вспоминал этих баб, вообще никого не вспомнил. Помню, только с Камчатки девку звали Котик, потому что Катя. Вот и все. Так и меня никто не вспомнит. А, скажут, длинный такой, в очочках.

Сегодня был приступ. Проснулся на чистом свежем белье, с прекрасным настроением и самочувствием. Из-за окна светило солнышко, было свежо и приятно.

- Где я? – говорю.

- В реанимации, – ответила сиделка, высунув нос из-за газеты «Жизнь», – Плохо тебе опять было.

Я сразу все вспомнил, настроение моментально испортилось, и сердце стало опять тихонько ныть, как побитая шавка. Скоро я умру. И светить мне будет черное солнце, солнце мертвых.

Каждого смертного ждет кончина!

Пусть же кто может, вживе заслужит

Вечную славу! Ибо для воина

Лучшая плата – память достойная!

Это не про меня, как вы догадались. Это – про Беовульфа, героя английского эпоса. Что скажут про меня? Ничего не скажут. Погасла одна из мириад звездочек, яркая и огромная по своим меркам – а никто и не заметил этого на скучающей земле.

Опять приходила Надя вместе с Игорешкой. Рассказывали мне всякую ерунду, абсолютно ничего не значащую. Я начал байки заливать, что уже железно пошел на поправку, что уже вчера дошел сам до туалета и обратно, что мне все аплодировали, что уже, наверное, на следующей неделе меня точно выпишут (кстати, насчет этой выписки через неделю я ни капли не соврал).

Я пытался собрать все свои силы, и на самом деле выглядел так, что вот-вот вскочу с койки и пуцусь в пляс. Понятно было, что такая живость и веселость мне скоро аукнется, но было ясно, что осталось мне совсем чуть-чуть, и эта разница в пару дней большой погоды не сделает. Пусть хоть порадуются родные, пусть говорят, что я скоро приду домой. Пусть хоть немного еще порадуются.

Хотя, наверное, все же надо их как-то подготовить. Перебарщивать тут тоже не надо. А то дело дойдет до того, что скажу: выписываюсь, встречай. Надя с Игорешкой стол накроют, моих любимых кушаний наготовят. Только придется им все эти кушанья со стола убирать и нести на кухню. На обеденный стол, который они тащили из другой комнаты, раздвигали, накрывали сначала газетами, а потом новой скатертью, положат меня.

Где стол был яств,
Там гроб стоит.

Как бы их всех удар не хватанул. А что делать? Как сказать? Понятно, что надо как-то помягче. Например: если я умру, ты уж не расстраивайся. Ха-ха-ха. Не будешь расстраиваться? Или: ты знаешь, песня такая веселая – «вот умру я, умру, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя...» Ха-ха-ха, смешно, правда? Это про меня песня!

Игорешка принес мне наш семейный фотоальбом, положил его на койку и назидательно поднял вверх пальчик:

- Смотри, папа, и поправляйся. Пусть это тебе придаст сил!

На самом же деле силы вдруг начали стремительно убывать. Я сослался на то, что по режиму пора спать и выпроводил жену с сыном. Когда они ушли, и, долго намахавшись в мое окошко с улицы, покинули врата больницы, я с трудом открыл фотоальбом, уже зная, конечно, чем это кончится. Томительная тревожная слабость уже разливалась по членам и сердце как-то подозрительно стало приплясывать.

Я никогда еще так не ревел. Слезы с трудом выкатывались из глаз, медленной жалкой струйкой стекая по щекам. На сей раз из моего брюха и глотки вырвался дикий тоскливый вой, которому и Саныч бы позавидовал. Вбежали маленькие практиканты, похожие на гномов в белых халатиках, вбежала соседка Антонина Захаровна, вбежали медсестры, вбежал сам Сергей Александрович. Но они почему-то нечего не делали, а в ступоре стояли, раскрывши рты, и смотрели, как я выл, запрокинув голову.

На коленях моих лежал распахнутый подарочный альбом, толстый, в алой обложке. Рассыпались по одеялу, по полу все мои фотографии, которые Иго-

решка заботливо разложил в хронологическом порядке для поднятия моего боевого духа. Я маленький в буденовке, с пластмассовой шашкой и на улыбающейся коняшке. Я иду в школу со скромной улыбкой, стрижкой «под горшок» и с гигантским букетом, рядом стоят мама, папа и бабушка с дедушкой. Школьный выпускной. Институт. Свадьба. Выписка Игорешки из роддома. Зачем все это? Зачем?

У меня нет оружия: Воля – мое оружие.

У меня нет господина: Долг – мой господин.

У меня нет жизни: Правда – моя жизнь.

И я умираю, чтобы родиться вновь!

От как хорошо! Вот так древние арийцы встречали смерть! Как бы хотелось так же радостно воскликнуть на удивление будущим поколениям!

Сегодня слушал соловьев. Плакал.

Вот сегодня я и познакомился со смертью поближе. Вырубился. Очнулся опять в реанимации, только на сей раз меня порадовали тем, что у меня была клиническая смерть. Воскрешение произошло при помощи электрических кардиостимуляторов. Это такие утюги, которые к сердцу прикладывают. В комедиях это всегда очень смешно выглядит. Такими утюгами – бабах! – все прыгают, шутят! На груди даже появились небольшие красные следы.

Пытался вспомнить, как я отключился, и все эти байки про тоннель, свет в конце трубы и мудрый голос. Ничего не вспомнил. Наверное, не было ничего. Как будто заснул тихонечко и проснулся в реанимационной. Или еще, как будто напиваешься в ноль (со мной несколько раз, каюсь, такое было) и очухиваешься непонятно с чего на набережной реки в другом конце города или на чердаке в доме у одноклассника, с которым двадцать лет не виделся, или на могиле у прабабушки. Как ты там оказался? Непонятно. Чудеса. Помнишь какие то обрывки, как ехал на автобусе, уткнувшись носом в стекло, как сидел на ступеньках, неизвестно где... Так же было и сейчас, только, восстанавливая в памяти куски запомнившихся моментов, понимаю, что это были сны. Очень яркие, сочные, радужные обрывки.

Словно пузырьки воздуха из воды, из уже мертвого мозга (а он был мертв четыре секунды) всплывали остатки жизни.

Ничего страшного.

Эх, было бы здорово достойно дожить свои последние часы... Поехать в Чечню или в Приднестровье. Сжимая горячий автомат, поднять на флагштоке блок-поста державный штандарт под свист пуль, ненавидящие вопли врагов

и восхищенные возгласы соратников. Поймать потертым камуфляжем огонь металла, прожигающий кожу, с хрустом рвущий мясо и ломающий кости. Упасть на руки боевых товарищей. Улыбаться им пузырящимся ртом и прошептать что-то вроде «жене передай мой последний привет, а сыну отдай бескозырку». Чтобы на кладбище играл военный духовой оркестр в парадной форме, и на торжественном митинге под проливным дождем седой генерал сказал: «Сегодня природа скорбит вместе с нами». Чтобы хоронили меня, накрытого флагом, с фуражкой, прибитой к гробу, и под залп автоматов в заскорузлых руках угрюмых сержантов.

Только не будет этого ничего. Стрелять я не умею, подтягивался в последний раз в школе (уже в институте плохо получалось) и задыхаюсь, поднявшись на третий этаж. Когда моя нескладная фигура покажется в военкомате в дверях отдела контрактной службы, там, наверное, все лопнут от хохота.

- Ну что, сынок, пришло время мне отправиться в тот край, откуда никогда не возвращаются. Ну-ка, улыбнись, ты уже взрослый. И когда меня не будет, помни, ты – настоящий мужчина. Помогай во всем маме, поддерживай ее и не обижай – ведь кроме тебя у нее никого не осталось.

- Пап, а когда ты умрешь? Я как-то боюсь немножко.

- Завтра, сынок. И воспринимай это без нытья. Смерть – такой же удивительный и яркий шаг, как и рождение. И никуда от него никто не девается. А я с улыбкой буду на вас потом смотреть и незримо помогать вам.

- А откуда, пап?

- Не знаю, сынок. Никто не знает. Но буду, это точно. А ты, сынок, расти, учись. Женись лет в двадцать пять, а если раньше полюбишь – женись раньше. Старайся не пить и не курить: от этого все беды. Уж если и будешь себе позволять, то немножко, и самого лучшего с лучшими друзьями и крайне редко, чтобы эта привычка тебя не поглотила.

- Пап, а умирать больно?

- Приятно, сынок.

Сотни раз я прокручивал этот пафосный диалог в своем угасающем сознании, и каждый раз не мог воплотить его в реал. Настолько все это казалось киношным, ненастоящим, наигранным. Написать посмертное письмо тоже казалось нелепой затеей. Чтобы Надя потом его читала, хранила на самом видном месте, и чтобы потом его мыши съели. Чушь!

Но как же все-таки им сказать? Наверно, зря я затянул эту игру с моим фальшивым выздоровлением. Сказал бы сразу: плохо мне, совсем плохо.

Уже два раза в реанимации просыпался, третий раз не проснусь. Может и ничего, догадались бы.

Черт, как все запуталось.

С утра понял, что как-то тяжело становится писать, а главное – думать. Ум отказывает, выходит. Как-то меня это очень огорчило. Такое ощущение, как будто пил весь день, всю ночь, опять следующий день, а потом под вечер маленько вздремнул, но сразу разбудили. И сейчас гадкое чувство дури и тупости в голове. А главное – невыспанность вот эта. И как бы понимаешь – ну ничего, еще пару часиков продержимся – и тогда поспим. Завтра встанешь, свеженький как огурчик. Дотерпеть бы... Поспать бы...

К вечеру что-то опять чуть не вырубился. Внутри что-то громко и тоскливо лопнуло. И внутри меня стали бегать маленькие муравьи и меня щекотить. Потом они заснули, причем ясно ощущалось, как они заполонили меня внутри, спят, ворочаются и шевелятся от своих муравьиных придыханий.

Как-то рано все происходит. Я как-то планировал все же еще недельку протянуть. Но Сергей Александрович не только не наврал, но еще, видимо, и прибавил мне пару деньков, чтобы не расстраивать. Я так дико перепугался, что срочно начал писать прощальное письмо.

Вот оно.

«Надя, Игорь! Я не хотел вас расстраивать раньше времени. Я знал, что скоро умру, еще несколько недель назад.

Все, что я вам хотел сказать, я давно уже сказал. Нет смысла все здесь это повторять, чтобы из этого письма получились скрижали Моисея. Не надо этого. Не надо смотреть на эту нелепую бумажку. Я бы хотел, чтобы вы ее сожгли. И меня тоже. Прошу только кремации, никаких кладбищ. Отпевать не надо. Хотя, что тут приказывать? Мне от этих обрядов уже будет ни горячо ни холодно, они нужны только вам, считаете нужным – делайте.

Помните меня таким, как я был, со всеми моими плюсами и минусами. Не надо по мне горевать: лучше никому от этого не будет. Скажу даже так – плакать я вам запрещаю.

Надя, я тебя люблю, ты – вся жизнь моя. Но она уже закончилась. Я разрешаю тебе выйти замуж за другого. Я даже буду рад этому. Только перед тем, как переступишь его порог, скажи ему, что если он тебя обидит, я найду возможность ужасно ему отомстить.

Игорь, помни одно: всегда будь мужчиной.

Я очень вас люблю.

Прощайте.»

И заснул.

Хороший конец для повествования, а? Но утром я проснулся, причем муравьев и след простыл, а голова так кристально прояснилась, что я наверное, какой-нибудь всемирный закон смог бы открыть при большом желании.

Перечитал письмо и нашел его дико пафосным. Даже хихикал немного. Поел, и совсем стало хорошо. Правда, впору идти к Сергею Санычу, мол, выпишывай, выздоровел пациент!

Мираж, мираж. Луч света перед бурей. Думал, что же сделать с письмом, оставить таким, или написать попроще. После долгих раздумий решил его стереть. Написал другое.

«Я умираю. Я вас люблю. Прощайте.»

Потом и это стер – уж лучше вообще ничего не писать, чем такую ерунду. Ладно, до вечера что-нибудь навалю.

Что-нибудь, как в «Песне о Нибелунгах»:

Горюя о погибшем, и недругов кляня,
Иные из вассалов не ели по три дня.
Но день настал четвертый – и полегчало им.
О мертвом веки вечные нельзя грустить живым.

И неясно, что делать с этими самыми записками. Стереть как-то жалко. Они у меня сейчас запаролены, все равно никто не прочитает. Оставлю. Пусть будут.

Восстановил первое письмо, чуть подчистил. Пафосные слова убрал, оставил только начало и конец.

Конец. Сердце опять стало ухать, как сова, и дыхание спирает.

Солнышко, земля-матушка, Наденька, Игоршенька, милые мои, прощайте, любимые. Простите меня, за все что ляпнул не так, что посмотрел, подумал неправильно. Наденька, прости, что изменил тебе. Я ж всегда одну тебя любил. Счастья вам, родные мои.

Может ничего, может, оклемаюсь еще? Может недельку, недельку еще выстою... Я скажу все Наде, я ж ей самого главного ничего не сказал... и Игорю тоже, шутил все, а самого главного-то ничего не сказал. Как сердце-то колошматит! и лопнуло опять что-то в сердце, громко, на всю Вселенную!

Похоже на состояние восторга и возбуждения, как бывало перед экзаменами, соревнованиями и концертами. И понятно, что только прыгнуть надо и все само пойдет, потом только смеяться будешь и вспоминать об этом. Быстрее, быстрее.

Надо прыгнуть.

Везут в реанимационную.

И уже когда каталка потрусила по выщербленному коридору, на смену ясности мысли радостной вдруг пришла ясность мысли давящая. Давящая до самого донышка. Словно когда ты выходишь на ринг, уверенный и подготовленный, и вдруг понимаешь, что соперник тренировался как раз по той самой улучшенной системе, которую ты почему-то упустил. И буквально через несколько минут придет твой конец. А пока ты понимаешь, что вся твоя сила превращается в беспомощность.

Вот оно. Зачем, зачем я жил? Я, такой умный, образованный, так разбирающийся в истории и литературе, который еще в институте влюблял в себя девушек своими неплохими, кстати, стихами – я вспыхну и погасну – и что останется потом? Тонны бумажек с грифом «Хранить 10 лет»? А потом – бух – в печку?

И все мои мечты – о сильной мужественной жизни, о любимом деле, о благодарности потомков как же потухнут, как мое бесполезное существование? И даже я сам не чувствую в своем сморщенном сердце радости от того, что хоть пожил я хоть не для других, так для своей семьи. И для себя. Единственный выезд с женой и сыном на Черное море – это что, что-то полезное? А пятничные пьянки – это разве то, что греет душу в последние минуты? Или шашлыки на майские праздники!

Неужели нельзя было в какой-то момент изменить свою жизнь, или начать жить как-то так, чтобы гордиться каждым днем? Неужели остается только тоскливо просить: ну пожалуйста... пусть я останусь жить... пусть меня вывезут из реанимационной головой вперед... Тогда я начну новую, совсем другую жизнь, правильную, нужную и полезную... настоящую жизнь, я хочу прожить настоящую жизнь, а не эту пародию! Я буду не только мечтать, да еще и посмеиваться над своими мечтами – я буду, буду добиваться своих мечтаний и гордиться этим! И вся моя семья будет этим гордиться!

Черт, черт, черт! Вот об этом надо было сказать сыну, а не всякие теплые и пафосные слова. И не только сыну, а всем-всем, всему миру! Не наступайте на горло собственной песне, не превращайтесь в менеджеров, бухгалтеров и специалистов! Спускайтесь со своей пристани и ничего не бойсь, прыгайте в бурную, ледяную реку настоящей жизни, и эта река обязательно принесет вас вперед, далеко-далеко! И когда придет ваш последний час (пусть даже и за поворотом, когда вы вылетите из лодки) – вы уснете с улыбкой на лице. Потому что вы бросили вызов жизни, и даже оказавшись поверженным, вы не проиграли в этом великолепном поединке. И вы закроете глаза, как тот самый древний герой, стихи о котором вы с восхищением учили в детстве.

Вот ради этого стоит жить.

И я еще научу этим стихам своего сына.

Я выживу. Потому что теперь понял – зачем.

ПТИЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ

Я, Лаптев Ярослав, вместо того, чтобы стать как родители, учителем, пошел после школы учиться в сельхозинститут. Я закончил альму матер без троек, обслушался «В башке – навоз – иди в сельхоз», «Лучше лечь под стог навоза, чем под мальчика с сельхоза» и прочее, насмотрелся на дебильных крестьянских деточек, и с таким же изумлением поражался Ломоносовым из Евлашево и Беднодемьяновска.

После института мне подвернулась удача: я не отправился, подобно многим однокашникам, в колхоз или в армию. Крупнейшая питерская организация выкупила в нашей области мукомольный комбинат, тихо умирающий и разваливающийся. Он сразу начал потихоньку расцветать, обрастать длинными автомобилями с не нашими номерами. Обалдевшие крестьяне робко стали подходить к своему бывшему заводу и их принимали на работу, начинали платить огромную для тех мест зарплату.

Я пришел на комбинат, надеясь получать нормальные деньги и найти, наконец, золотую середину -- работать по специальности, работать в сельском хозяйстве, чтобы не загреметь в армию (тогда сельхозработникам давали отсрочки) и, наконец, работать в нормальном коллективе.

Питерцы были молодые, красиво матерящиеся, богатые, но не кичащиеся своими деньгами, а относящиеся к ним как к должному, они сами их зарабатывали. Меня приняли в штат, и я начал изумлять своих соседей тем, что меня подвозили домой на Мерседесе или давали на выходные маленькое чудо – мобильный телефон. Поначалу мои новые коллеги просто ошеломляли меня

своим отличием от добрых и мягко-ленивых земляков: Иван, наш директор; зам по финансам – Вагаршак Вирабян; зам по безопасности – Игорь Иварсон; зам по экономике – Иосиф Штос, и все прочие, которые приезжали сюда набегами, чтобы выкрулить непростую обстановку.

История, которую я вам хочу рассказать, случилась, когда я работал на комбинате «Невский Хлеб» уже около года. Деньги крутились здесь такие, что вам и не снились, вы их только по телевизору видели! Питерцы работали нагло и яростно, беспощадно к себе и другим. Работать они любили и путем кнута и пряника учили этому меня. Я уже мог определить хорошее или плохое зерно на ощупь, мог сбить сумму закупки на полмиллиона просто правильно поставленным разговором по телефону, мог закупить до двадцати вагонов зерна (рекорд!) в кредит, а деньги заплатить не сразу, как обещали, а через три месяца. Иногда питерская контора не успевала перечислить на наш счет деньги, необходимые для закупки сырья, и приходилось закупать зерно «без денег», то есть, с отсрочкой платежа. Часто бывало так, что видя несерьезность бизнес-партнера, деньги ему не отдавали.

Однажды к нам приехал мужчина, лет пятидесяти, с небольшим пузком и мягким рассудительным голосом, одетый в чистые джинсы, начищенные мокасины и теплый свитер под горлышко. Звали его Антон Иванович Мишутин и был он директором ООО «Мишутка». Раньше они делали овсяные каши для детей в больших коробках с изображением глуповатого Мишки с большой деревянной ложкой. Но сейчас какие-то дагестанские знакомые Антон Ивановича из Оренбурга решили продать ему фуражный ячмень по смешной цене: восемьсот рублей с жд тарифом, отсрочка платежа – неделя. Нам он предлагал 2000 тонн этого замечательного ячменя по тысяче рублей, только чтобы мы заплатили сразу как выгрузят вагоны на комбинате. Тогда ячмень стоил где-то в два раза дороже, и нам он как раз был позарез нужен.

Он говорил со мной, словно со старым знакомым, рассуждал о ценах на рынке зерна. И произнес такую сакраментальную фразу:

- Я – настоящий русский купец. Сказал, значит – сделал, а эти все договоры, доверенности мне не обязательны. Вот мне сказали, что вам ячмень нужен, значит, помочь надо, я же сам – производственник. Я вам помог, а вы – мне. Правильно, Ярик?

Я вежливо поддакивал. Не люблю, когда меня называют Ярик.

Антон Иванович был очень любезен, подарил мне бутылку дорогущего коньяка, а девочке Кате, которая печатала договор и собирала под ним визы – коробку швейцарских конфет. Даже пообещал, что как только деньги поступят на его счет, сразу передаст мне «откат» – два процента от всей суммы. Только вышло, увы, совсем не так, как хотелось Мишутину.

Вагоны от него пришли очень быстро, но тут как раз приключился тот самый косяк, когда Питер не давал нам денег. Причем кризис обещал быть затяжным – им нужно было погасить какой-то большой и очень важный кредит. Мишутин сначала робко позванивал, сто раз извинившись при этом, добавлял, что просить и узнавать не в его принципах, но все-таки, как там с деньгами. Денег не было и я сперва врал ему, что деньги вот-вот придут, что проплата будет точно завтра. Потом сочинял, что наши финансисты перепутали счет и деньги ушли не туда, но завтра мы их перекинем и прочее. Потом Мишутин начал приезжать на аккуратной иномарке. Я начинал включать стандартную отмазку: к сожалению, я – всего лишь менеджер по закупкам, деньгами ведает директор либо зам по финансам. Антон Иванович терпеливо сидел в приемной, зачастую лишь для того, чтобы поздороваться с выбегающим Вагой или услышать от Ивана Романовича до слез искренние слова извинений и обещания в скорейшей проплате.

Но прошел месяц (это против обещанных двух банковских дней!), а деньги на счет «Мишутки» так и не пришли. Однажды Антон Иванович приехал ко мне чрезвычайно опечаленный и, удостоверившись у меня, что денег нет, сел на стул и горько вздохнул.

- Ярик, знаешь, дагестанцы мои сюда приехали. Звонили вчера домой. Угрожали.

Я искренне жалел его. У нас правда не было денег, нам не платили зарплату. Мы все знали, что вот-вот средства поступят, надо лишь чуть-чуть продержаться. Я сказал об этом в сотый раз Антону Ивановичу и он снова горько вздохнул.

- Попал я с вами, эх и попал! – он матюгнулся, и эти ругательства жутко звучали в его устах в отличие от боцманских-философских новоязов моих питерских боссов. – Они ведь дочку, ну, сказали, что дочку украдут.

Я знал, что у Мишутина была глухонемая дочь (он мне много о себе рассказывал за каждодневные часы общения), а жены не было. Он даже показывал фото Даши -- очень красивая девчушка, которая годам к шестнадцати превратится просто в богиню. Если превратится.

Я не знал, чем помочь им. Я еще раз пообещал сделать все, что в моих силах и пошел к начальству. Игорь Иварсон – бывший майор, командовал спецназом во всех горячих точках планеты. Две контузии и постоянная война немного повредили ему кукундий, но все равно он был очень хорошим и дельным человеком. Я все ему рассказал и попросил совета.

- Яр! Ничего ты не сделаешь. Ну что, продай квартиру, подружку свою продай в Чечню в рабство, ты же все равно этих денег не наберешь! Ну, хочешь, позвони Рамазану (Рамазан Олегович – это наш Генеральный директор. Ко-

нечно, ему не получилось бы позвонить, он сейчас был в Исландии), попроси бабло отдать. Только нет пока денег, думаешь, он жалеет, что ли? Да и про Мишутку твоего с дочкой, может, это все подстава? И они театр разыгрывают, чтоб гроши получить? Увидишь, скоро еще эти чеченцы приедут, в камуфляже, папахах и со стволами. Твои какие проблемы? Ты договор не подписывал, подписывал Вага. Вот пусть он и расстраивается.

Вага мне тоже ничего не ответил, сославшись, что на нем долгов уже висит сто миллионов и от занюханного мишуткиного лима ему ни горячо ни холодно. Деньги отдадим. Но потом.

Иван (он тоже бывший офицер) сразу сказал, чтобы я не забивал себе голову и считал, что это – война. А на войне, как известно, погибают невинные люди – диалектика боя.

Я понимал, что они были правы, и в то же время – нет. Ведь я, как верующий человек, должен был помогать тем, кто нуждается в моей помощи. Но я не знал, как. Пойти к дагестанцам? А вдруг это действительно подстава?

Дней через несколько приехал совершенно расстроенный Мишутин с дочкой. Она, как я уже говорил, была очень симпатичная, но из-за своей немоты походила на куклу.

- Вот, теперь одну оставить страшно. Даги-то следить за нами начали. Угрожают.

Он еще маленько покрутился по заводу, потолковал с финансистами, а Даша сидела у меня в кабинете, понятиливо глядя на меня умильными голубыми глазами. Когда Антон Иванович вернулся, он посидел у меня, а только встал прощаться, сразу коротко матюгнулся и начал тыкать пальцем в окошко. Там стояла одинокая «аудюха», сквозь раскрытые окна которой, как и предрекал Игорь, торчали плохо выбритые рожи дагестанцев. Только они были не в камуфляже, а в клоунских спортивных костюмах. Зазвонил телефон, я поднял трубку.

- Да!

- Ярик, это ты?

-Я.

- Это Саид беспокоит тебя. Там Антон у тебя с дочкой? Пусть не прячется, мы его видим. – Я выглянул в окно, Саид – водитель – говорил со мной по мобильному телефону. – Ты позови его, пожалуйста.

Я передал трубку Мишутину. Тот взял и, слушая что-то, видимо, очень неприятное, начал суетиться и глядеть во второе окно, которое выходило на внутренний двор. Потом вдруг он резко выглянул к дагестанцам и сморщился. Они что-то показали в машине, я не разглядел. Потом Саид стрельнул нам в глаза солнечным зайчиком и засмеялся.

Мишутин бросил трубку и, как в замедленном кино, заходил по комнате взад-вперед.

- Что делать? Отсюда никак не выйти.

- Давайте сейчас милицию вызовем. Или охрану подыдем.

- Поздно! Эх, как же я с вами попал! Куда же я Дашеньку...

Он еще раз выглянул в окошко. Сидящий рядом с Саидом погрозил ему пальцем, а задний пассажир еще раз что-то показал, я опять не разглядел. Мишутин опять матюгнулся. И забормотал:

- Даша, Дашенька...

Вдруг он распахнул окно, выходящее на внутренний двор. В кабинет резко пахнуло теплотой и хлебом, пыльным зерном и сырой кровавой рыбой (недавно разгружали машину с рыбной мукой). Он поднял дочь за плечи и, глядя ей в глаза, начал что-то очень быстро бормотать на непонятном языке (сперва мне подумалось, что это какой-нибудь специальный язык для глухонемых). Дальше все происходило очень быстро. Мишутин поцеловал Дашу в лоб, встряхнул в своих ручищах, и вот он уже держал в раскрытых ладонях серенького голубя, как на коммунистических постерах. Легкий взмах – и голубь, недоуменно взмахивая крыльями, полетел вверх.

- Что? – усмехнулся как-то горько Мишутин. – Получили вы мою Дашеньку?

Он закрыл окно и пошел на выход. Дагестанцы не тронули его, он сел в свою машину и уехал. Я сперва думал, что это был какой-нибудь фокус, но, когда все проанализировал, то что-то странное стало происходить в моей голове. Это не был фокус.

Мишутин еще часто приезжал на завод за деньгами, потом мы начали ему платить понемногу, только теперь в конторе он находился не более пяти минут, а потом сразу спускался вниз, на внутренний двор. Он подходил к бункерам и крошил на землю белую булку. У нас на крышах полно голубей, может тысяча, может, две. Голуби обжирались лузгой и отрубями, частенько им перепало и зерно. Но все равно, к нему слеталось несколько серых тушек и лениво выбирали сдобные крошки. Антон Иванович пытался дотронуться

до одного из них, иногда это ему удавалось, но голубь сразу же отлетал прочь.

Мишутин поднимался с колен, отряхивал пыль и брел назад.

Когда ему выплатили все деньги, он заходил еще несколько раз, видимо, по привычке, кормил голубей и опять шел к машине. Однажды он сказал:

- Ничего у меня не получается.

Потом он перестал приходить. Зато на другой день у меня на окне поселился голубь, кругленький и с умными медвежьими глазами-пуговками. Я сразу понял, кто это.

4-7 Сентября 2003

ВНУКИ ВОЙНЫ

-1-

У соседей по лестничной площадке целые сутки гроыхала гулянка. Уже к рассвету стихли звуки гармошки, уснуло надорванное радио, замолкли хмельные гости. Ровно в семь, вместе с неохотно пробуждающимся осенним солнцем, из дома вышел пошатывающийся сосед – семнадцатилетний Володька. Он был уже заранее обрит наголо (видимо, прямо вчера – на жалкой головной коже зияли порезы), в чистом спортивном костюме. На плече болтался красный рюкзачок. Справа парнишку крепко держал за плечо его отец Николай Иванович. Он был одет в непривычный для токаря черный костюм и в свободной руке нес пакет с торчащим селедочным хвостом. Слева шла Светлана Петровна, тоже в парадном платье и с пышно взбитой прической. Сзади кучей шли Володькины друзья, человек шесть. Они были хмельны в умат, с трудом стояли на ногах, вели друг друга. У одного на шее висела гармошка, длинный парень в шортах нес гитару. Как ни пьяны, все равно они честно провожали своего товарища, зная, что вскоре такие почести окажут и им. Хриплыми сорванными голосами орали «Прощание славянки». Вот вся процессия подбрела к остановке, Володька вплыл в центр команды своих друзей, все сцепились, заорали одобрительно, он вскоре вылетел из объятий, подшагал к родителям. Подъехал троллейбус. Друзья отошли: проводы кончились, дальше должны идти только родители. Двери хрипло отворились, Николай Иванович засунул сына, потом жену вовнутрь, а потом залез и сам. Троллейбус поехал, оставив на остановке мотающихся парней.

Я сел в этот же троллейбус, в другую дверь, и плюхнулся на одно из пустующих сидений. Передо мной сидели другие провожающие, видимо, из деревни – старый уже отец, крепенько пьяный, сам призывник – такой же бритый,

дрожащий от похмелья парнишка в потертой спортивной кофте, и младший брат, стоя подпиривший собой сиденье, чтобы на повороте батя с братаном не вылетели в проход.

- Сынушка, – пьяно, но четко выговаривая слова, шептал старик (по седым грязным волосам его упрямо полз жучок-мукоед), – сынушка... Я тебе тут сальца положил, мясца... Хлебушка положил, самогоночки полторашечку... Ты только, сыночек, смотри, щас вылезем, похмелимся и не пей больше, а то старшину обозлишь. Лучше потом... Воюй хорошо, командиров слушайся...

Володька с родителями сидел на первых местах. Он спал, ткнувшись головой в отца, обнявшего его, а иногда встряхивался и шумными глотками пил минералку.

Я погрустнел. Николай Иванович, мой сосед, был младше меня. Но я успел застать мирное время (война началась, когда мне было лет десять), а он родился как раз в год, когда началась война. И вот его сын Володька, выросший на моих глазах, уже призывается на войну. Уже второе поколение вскормленных под военные репортажи, то есть внуки, уходит на фронт. Внуки войны.

-2-

Я работаю на областном призывном пункте. Сколько я уже насмотрелся таких мальчиков! Вот родители подводят его к проходной. Еще раз крепко обнимают, и он вырывается от них и бежит к вертушке. Долгие проводы – лишние хлопоты!

- Фамилия! – останавливает новобранца ослепительно красивый дежурный, в самой парадной форме и с саблей.

Перепуганный и восхищенный юнец, еще видящий в глазах строгого часового отражение своих родителей, мямлит в ответ и неловко сует свою измятую повестку.

- Проходи!

Грустно крутя турникет и застревая в неуклюжих лапах сумками со снедью и одеждой, рекрут протискивается внутрь. Вот он озирается: похоже на школу. Только плац перед большим зданием подметают не школяры, а brave солдатики. В уголке высится светлый деревянный храм. Вот он робко поднимается по ступеням, заходит в вестибюль призывного пункта.

И все, потихоньку начинают щелкать шестерни и фрезы военного агрегата: его записывают в журнал, досматривают личную кладь. Сажают на длинную,

от стены до стены, низенькую скамейку, среди таких же нахохлившихся воробьями призывников.

Так и мой Володька теперь сидит восьмым справа, разинув глаза, зрелищно сглатывая сопли, и приводя в порядок расшебуршенную сумку с едой. Баночку пива, всунутую друзьями на опохмел, отобрали. Они сидят долго, лавка наполняется, вскоре аккуратные солдатики приносят вторую, третью. Периметр забит. Те, кто пришел рано, потихоньку начинают подъедать еще не остывшие пирожки.

И вот выходит военком, полковник. Он выражает каждым своим атомом усталость. Он устал не только от работы, но и от жизни, ставшей какой-то непонятной, когда он, сильный и крепкий мужчина, вместо того, чтобы стоять на передовой с автоматом, начал считать бритые черепашки тупых рекрутов. Сзади него четверо офицеров, это «купцы» с разных частей, приехали за живым товаром.

- Здравия желаю. Полковник Гребенюк, ваш военный комиссар. – Он крутится, пытаясь посмотреть в глаза всем призывникам. – Я не оратор, говорить не умею. Здесь вы все ребята очень хорошие. Орлы! Все как на подбор. Вы потому и самые последние остались, непризванные. Мы вас по командам не разбивали, запрос на ваш призыв прислали три части, все с разных округов и разных фронтов. Все их представители приехали, вот они. Они сейчас по несколько слов скажут и потом сядут вот за столы, вот здесь вот, и можете подходить записываться. Только это, вас тут сто десять человек ровно, так что смотрите: ровно по пятьдесят человек в первые два округа, а в Западный – десять. Ну там, плюс-минус два-три человека.

- Капитан Орлов, ВДВ. Дальневосточный фронт. Мне нужны только те, кто хочет служить десантником. Ребята, на нас прет вся Азия. Они числом давят. А вы сами знаете, еще Суворов говорил: не числом, а умением бей. Вот мне умельцы и нужны. Жду.

- Лейтенант Ваняткин. Северный округ. У нас это, в общем, желательно, те, кто холода не боится. Потому что, это, мы сейчас и во флот набираем, и подводниками, и морпехов, вот. И десантуру тоже. Вот. И это, еще кто на компьютерах и с электроникой, в общем, разбирается, чтобы на кораблях работать.

- Майор Лутковский. Западный фронт. Мне вообще предпочтительней, кто отучился уже. Еще лучше, у кого разряд спортивный. Будем забрасывать за линию фронта. Ко мне только с рекомендациями. Служить будете у меня лично, потому сам и отбираю.

Ко мне, вырвавшись из всеобщего толповорота, подходит Володька. Он, конечно, меня сразу увидел. Он откашливается и говорит:

- Товарищ капитан! – и уже стыдливым шепотком. – Дядя Женя...

- Чего, Володь? – уж можно подумать не знаю, чего он попросит.

- Я это, я хотел на запад попроситься, в подрывные отряды, а рекомендацию мне ПТУ не дало. У меня и разряд есть, по конькобежке, ну вы ж знаете. Первый взрослый. Я это, ну можно придумать чего-нибудь... – Он вежливо подает мне трость, и я ковыляю к капитану Лутковскому.

- Товарищ майор!

- Да. – Он оборачивается и в один миг окидывает меня с ног до головы: приземистую неправильную фигуру, парадную форму, нашивки, медали и орден. Протез не так уж и заметен, у меня хороший дорогой протез, но Лутковский все равно догадался. – Ледовый прорыв?

Я киваю.

– Я ведь тоже там был, в спецназе. Повезло.

Я опять киваю: действительно – повезло. Был в самом авангарде Ледового прорыва, в спецназе и целехонький, ни царапинки. А я чуть не в тылу на КАМАЗе ездил – и вот: чуть живой остался. А майор – молодец. И теперь вот ребят отбирает, и сам с ними в тыл врага диверсантом пойдет. И жена наверняка у него живая, и сынишка. А захочет – и еще одного с женой родят. Или двух. Потому что сильный, здоровый мужчина. А таким не просто везет -- такие удачу сами за хвост ловят и в свою кормушку тычут: ешь, мол, милая, отсюда. А та трепещется, да ест, а потом и привыкает.

- Товарищ капитан, вот тут парнишка один, Белов Владимир. К вам хочет служить.

- Рекомендация есть?

Я тычу пальцем себе в грудь. Капитан смеется, смеюсь и я.

- Будет первым в списке.

- Спасибо, товарищ капитан. – Я киваю Володьке и ползу за свой столик.

-3-

Возвращаясь из военкомата домой, я увидел на дверях всех подъездов объявление.

«Братья и сестры!

Через неделю, 24 сентября нашим войскам предстоит сражение, решающее исход изнурительной войны. В наших силах помочь нашим отцам, братьям и сыновьям, проливающим кровь за Родину.

В связи с этим, а также по поводу предстоящего праздника Таусеня, все приглашаются в городской Храм Перуна (ул. Красная, 38) 20 сентября в 20-00.

Лекцию «Таусень – праздник осеннего Солнца» прочтет жрец Круга Родной веры Венцеслав.

Жрец Перуна Лют».

-4-

Лют, а в миру Андрей Маслов – бывший морской пехотинец. Лет десять назад, молодым безусым бойцом он сразу после военного училища попал на самое острое иглы еще первого прорыва Огненной Лавы. Чудом остался жив, только вся его правая половина превратилась в истрепанное мясное тряпье: ноги и руки не было, половину лохмотьев лица скрепляла розовая пластиковая маска. Склеив в госпитале это существо, Андрея отправили в тыл. Там он узнал, что вся семья его, жившая за огненной линией фронта, была показательно казнена вместе с другими партизанами. Маслов бесполезно промотался по всем конторам, тщетно пытаясь найти работу: на пособие для инвалидов не проживешь, камуфляжными доходягами и так весь тыл забит. Наконец, когда он уже собирался сглотнуть пулю, какая-то мудрая бабка посоветовала обратиться в духовные инстанции. В Русской Православной церкви Андрею предложили должность помощника кладбищенского сторожа с ничтожным окладом в полторы тысячи. Работа, кстати, не из лучших: погост что тогда, что сейчас работает интенсивнее метрополитена. А в представительстве Круга Родной Веры его встретила предложение поинтереснее: в городе по разнарядке должны были возводить храм Перуна, и Андрею, как бывшему воину, сразу предложили занять место жреца.

Но я ничего не знаю! – отнекивался Маслов. – Какой из меня жрец!

Это тебе не церковь, – отвечал седой родновер в потертom камуфляже с несколькими орденоскими планками. Семинарию заканчивать не обязательно. Про обряды и обустройство капища в книжечке прочитаешь. – Он вынул из стола книги «Родные Боги» и «Волховник». – Работа интересная и нынче очень нужная. Если призвание почувствуешь, может, и волховом станешь. Только сразу говорю: оклад мы тебе положим очень маленький, остальное, дорогой, заработаешь. Тут на одних жертвованиях не протянешь. Придется крутиться, от нас любая помощь гарантирована.

Андрей раздумывал недолго, согласился сразу, тем более, что как ни странно, интересные идеи в голову полезли ему сразу. Под храм выделили быв-

ший детсад, сильно обгоревший после бомбежки. Помощники – такие же инвалиды и дети – нашлись быстро. Вскоре развалина превратилась в аккуратный домик-скворечник.

Потом Андрей решил организовать подростковый клуб. В комнатке с останками пианино он с помощью местных жителей устроил спортзал, в бывшем овощехранилище – тир, а на разрытой воронками игровой площадке – полюсу препятствий. Из Круга Родной веры выделили лекторов. Парни и девчонки сразу об этом узнали и потихоньку начали заниматься. Иногда приходили и взрослые. Кроме того, Андрей вполне качественно организовывал праздники и обряды, где, правда, тоже помогали волхвы. Все это плюс мизерные пожертвования плюс стабильная зарплата давало Люту (он уже прошел обряд имянаречения) жилье, средства к нормальному существованию и взаправду интересную работу. Ну и, может, и самое главное – связь с Богами, служение Перуну. А это тоже немаловажно. Постепенно равнодушно относящийся к Родной Вере Лют, начал творить славления Перуну по четвергам, благодарить Рода перед едой и разговаривать с Богами перед сном. А потом и учить этому других.

Его любили. Постепенно он сам начал проводить все обряды от имянаречения новорожденных до кремации и тризны. Православные священники даже были ему благодарны – похоронной работы было невпроворот.

-5-

Я тоже уважал Люта. Я был многим ему обязан. Он, хоть и получил свое психологическое и духовное образование в диверсгруппе прорыва Огненной Лавы, поддержал меня в самые страшные минуты.

Самоубийство в нашу годину – вещь обыденная, равно как и смерть вообще. После официального признания Родноверия гибель стала еще более понятна, чем раньше. В это удивительно-удивленное «был человек – и нет человека» стала вкладываться какая-то волшебная мудрость. Православное христианство безропотно отошло, в годы тотальной войны, повсеместного отступления и депрессии ему уже не удавалось, как прежде, сплотить всю страну, весь народ. Противоречия этой веры высмеивались журналистами, обсуждались философами. Враги России нашли эту слабину в душе солдата и умело били по ней всеми своими давно проверенными средствами.

Конечно, многое, если не все, сделала политика. Когда народ опаматовался после первого месяца войны, и когда наш Президент уже не смог ничего наврать про преобразования, его просто растерзали в клочья по старой русской традиции. На его место поставили старого боевого генерала, который сумел организовать оборону, а потом и контратаки. Генерал сразу разогнал разожравшееся правительство и Думу, и поставил на их место своих золото-

погонных друзей. На журналистов, которые тотчас же записали о «хунте» и прочих антидемократических штучках, быстренько напустили контрразведчиков. Народу объяснили, почему, за сколько, и за чьи деньги они так писали, и по приказу Главнокомандующего (должность Президента на период войны была упразднена) их повесили как шпионов. Чтобы таких казусов более не случалось, был введен портфель министра пропаганды. Его получил инструктор спецназа военной разведки, писатель и ученый. Он сразу официально заявил, что победа, да вся жизнь невозможна без стержня. А главный стержень – это вера.

Родноверие заняло пустоту в мечущихся душах смело и неожиданно. Как ни странно, воевали в основном лица коренной национальности, то есть русские. Языческие жрецы, приходившие к солдатам перед атакой, говорили совсем не то, что только что вещали поп и замполит. И когда разум бойца и командира еще мотался в смятении, после ракеты об атаке, когда вражеская лава неслась, бурля огнем, жрец первым бросался вперед, без каски, в красной расшитой рубахе, а то и с голым мокрым торсом, сжимая в руках не АКМ, а бронзовый топор или извитый резами деревянный посох. Он во весь живот ревел, да не слоганы, не передовицы, а самые настоящие призывы к смертному бою, где нельзя ни отступить, ни жмуриться от страха. И нельзя было не верить в его убеждения, и нельзя было не броситься за ним, за его голой жилистой спиной с млечным путем родинок и шрамов.

И не всегда жрецу вдребезги разрывало голову после первого же шага. Часто после выигранного боя или позорного бегства, на привале бойцы окружали его подле костра и задавали вопросы, и верили, и понимали, ибо ответы были именно те, которых они ждали и о которых они думали еще с мальчишеских зыбок, думали, да боялись сказать. И называли язычество Родной верой, да еще и добавляли: наша, русская, родная...

И все становилось понятно: и почему «Родина и народ» – ибо все от Рода идем, и почему «ладно» – ибо вся любовь от Лады... И удивлялись воины, как же раньше они этого не знали. Даже обряды и праздники как-то сразу прижились, ибо всегда жили среди нас, только безымянными. Родноверы изменили отношение к жизни, а главное – к смерти.

Лет семь назад, то есть, давным-давно, когда Калининград и Курск еще были нашими, а Ледовый прорыв еще не сожрал десятину личного состава Российской Армии, я тоже воевал. Я пошел на фронт в лейтенантских погонах, выданных на институтских сборах, управленцем по образованию, в пленчатых линзах, с обручальным кольцом на правой руке и с юношеской улыбкой. Сразу пошел туда, куда приписали: на Западный фронт. Там получил чудесную должность зам командира по продовольственному и вещевому обеспечению, заведовал снабжением дивизии и выполнял самые скучные операции: вел бухгалтерию (на меня почему-то ее тоже повесили, и я с радостью слю-

нявил первичку, оборотки и шахматки), ездил с белобрысым шофером-мордвином и конвойным УАЗиком по базам, и снабжал, снабжал... Обмундирование, продовольствие, скот и птица в живом весе, а иногда бывали и медикаменты, боеприпасы, оружие... Потом я обслуживал Ледовый прорыв, самую страшную бойню в истории войны. Ранен был не в атаке, как следовало бы отважному бойцу, а когда ехал на КАМАЗе с цистерной в тыл за дизтопливом. Самое некрасивое, что я спал в спальнике за сиденьями, прилипнув щетиной к заслуженному ватнику, и прыгая на кочках. Попадание было наполовину прямым, вся машина (хорошо, шли порожняком! кабы шли оттуда, груженные, сгорели бы) разлетелась в клочья. Меня, наверно, спас спальный мешок: хоть немного погасил осколки. Но один осколкище гладенько, словно хлебный мякиш, срезал мою нижнюю четверть с лишним: правую ногу до развилки и детородный орган.

Когда я очнулся в госпитале, то чересчур спокойно и вменяемо (что-то по-слешоковое, наверно) отреагировал на пустоту между ногой и другой пустотой: мы с Викой, как и все разумные люди, успели родить сына перед моей отправкой на фронт. А без сладострастных развлечений я как-нибудь проживу, главное, что осколок не ошибся и не отрубил мою верхнюю четверть с лишним.

Когда я приковылял на б/у-шном протезе в тыл, в свой городок, уже говорили, что его несколько раз бомбили. Я думал о том, что что-то случилось: жена на звонки мои не отвечала, ни на домашний, ни на мобильный. Конечно, она могла переехать, а мобильная связь могла не работать, потому что вышку повредили. Мой мобильник погиб и она мне тоже позвонить не могла. Но еще в поезде, выясняя у попутчиков, что произошло в родном Кузнецке, я уже начал сжато подрагивать, чувствовал: что же, что же? Может, в больнице, а где тогда Славка? Да что же она не звонит! А, может, все нормально? Может, заработалась? Впрочем, не буду гнать эти слащавые сопли.

От всего квартала осталось только поле, вспаханное огненным слоновьим плугом. Из изнасилованной почвы, словно взросшие семена зубов дракона, торчали горы кровавого строительного хлама, вперемешку с дырами грязных развороченных воронок.

Бомбили ночью, ничего и никого не осталось. Пятнадцать жилых домов, школа, больница ветеранов УВД, пара недостроенных объектов и без того разваленное ЖЭУ. Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят семь человек, включая женщин и детей (то есть, моих Виду и Славку) погибли. Бомбежка была тотальной, не выжил никто.

Не буду описывать свои переживания. Смерть была повсюду и относились к ней совсем не так, как в мирное время. Ты был нужен стране, страна была старшей в твоей семье. И ты должен помогать своей старшей Матери, Ро-

дине. Ты потерял семью, но не всю! И каждый твой хныч, твой стон, твой день с заплаканными подушками, может привести лишь к тому, что ты потеряешь всю семью, погибнет Родина, а вместе с ней – и ты.

Это все мне и высказал Лют, когда я, тогда еще молодой, как и он, пришел в его маленькую комнатку и признался, что не хочу больше жить.

Слова, слова, слова! Быстро же ты научился говорить словами газетных передовиц. Как поп! – ответил ему я, усмехнувшись. – Все это ничего, кроме как слова, то есть правильный набор звуков, который вылетает из твоего рта.

Что же, ты хочешь, чтобы я тебе картинки рисовал? Или на бумажечке писал? – отвечал Лют.

Я не это имею в виду. Просто я отдал свой долг Родине-Матери, строгой женщине с мечом. – Я гулко хлопнул по протезу. – А теперь у меня нет ничего, кроме дыры в семейной общаге и сумки со шмотками. Зачем жить? На работу меня не берут. Жена и сын погибли. Дома и всего, что накопили, тоже нет. Жениться я не могу, ребенка сделать тоже не могу. Все прошло. Все ушло. Жизнь прошла. Я – как мусор, который в луже плавает, тонуть не хочет.

Лют вспрыгнул, оперевшись единственной рукой на костыль.

Я тоже так говорил, как с фронта меня на тележке прикатили! – заорал он. – Живу же, и радуюсь!

Ты хоть детей рожать можешь! – заорал я, тоже вскакивая.

Кто за меня пойдет, с такой рожей! – он ткнул в свою хоккейную маску, сдерживающую половину лица, сшитого нитками. – Да и не хочу я ребенка. У тебя что, основной инстинкт все мозги перекрыл? Полно людей, живущих без детей! Не калек, заметь, здоровых. И ничего, живут!

Но у меня-то был сын! И какое дело мне до каких-то дебилов?

Лют сел. Он сейчас не был похож на древнего волхва, каким выглядел в антуражных одеждах на обрядах. Старые, протертые добела джинсы, черная футболка, старые солдатские бахилы, штык-нож на поясе, которым сейчас никого не удивишь. Единственный атрибут Перунова служителя, который, впрочем, с лихвой заменял все прочие – была внешность Люта. Жрец должен выглядеть, как Бог, особенно, если Бог морпеха – тоже воин. У Люта была бритая блестящая голова, только с макушки свисала длинная прядь русых с проседью волос. Такие же длинные тонкие усы опускались чуть пониже рта. В левом ухе (остатки правого скрывала маска) блестела золотая серьга

(наверняка с инвентарным номером Круга Родной Веры) с кроваво-багровым камушком. В своей потертой одежде, с пустым рукавом футболки, с дурацким протезом (нога торчала, как у Буратино) он выглядел не торжественно, а жалко. Он именно так, как-то не по-жречески посмотрел на меня.

Ты что, хочешь мне предъявить, что мир несправедлив?

Я не ответил. О том, что мир несправедлив, известно и новорожденному.

Мир несправедлив. – Лют закурил, сплевывая табачные крошки.– И все разговоры о том, что всеблагий любящий Господь куда-то спрятался, раз позволяет царить на земле лжи и убийству, оставь для растерянных христиан. Или руки там выкидывать в небеса и орать, обливаясь слезьми, – Лют в этот момент поднял свою левую руку и огрызок правой вместе с кукольным рукавом, – где же ты, Господи! Значит, нет тебя! – это тоже для них же. Или: почему именно я?

Он придвинулся ко мне и проговорил просто, без пафосного торжественного шепота:

Мир несправедлив. Все очень просто -- на нашу обычную страну, не богоизбранную, и даже, наверно, не самую лучшую, просто – нашу, со всех сторон света напали враги. Опять же, почему напали? Потому что мы прогневили бога, плохо себя вели, в церкви не ходили, пили-курили, по бабам ходили? Это все для детей, Женя. Все просто: армию мы нашу потеряли, оборону забыли, атомное оружие уничтожили, денег у нас не было. Опять же, почему? Потому что разведки иностранных государств очень хорошо работали и платили. Слушай дальше: командующий вражеской авиации, не знаю, какой армии, решил для устрашения наших войск устроить бомбардировку мирных кварталов городка, находящегося довольно далеко от линии фронта. Куда бомбить? – спросил командир эскадрильи. Центр города! Только в сам центр не надо, там южнее чуть-чуть, или севернее, куда удобнее. Хорошо! Летят! Куда – южнее или севернее центра? – спрашивают летчики командира звена по радиации. Южнее! Разбомбили – и назад. Вот и все. Все просто.

Я стиснул зубы. Правда, все просто.

Тебе, как и каждому, конечно, не нравится, что мир несправедлив. Тут уж ничего не поделаешь. Кому-то может, хотелось бы, чтобы небо было зеленым. Но оно синее и все тут, и это тоже можно объяснить. Только небо краской не перекрасишь, а мир изменить можно. И это ты можешь сделать. Ты ведь недоволен миром?

Я молчал.

Недоволен. Ну так измени его! Ты же можешь это сделать! Улучши мир!

Я и хочу его улучшить. Когда с корки земли исчезнет один нелепый одноногий скопец, мир сразу улыбнется.

Улыбнется тебе дыра могилы. Мир огорчится. Дуб трепещет, когда теряет сына, если желудь, что должен вырасти выше отца, сожрала свинья. Но желудь не может сожрать себя сам. А ты хочешь.

Я не понимаю тебя, Лют. То ты говоришь, как старый прагматик, то как бешеный поэт с закаченными глазами. Как там: листа паденье рушит тишину, и мир тихонько содрогнется. Ты сам, я вижу, еще не разобрался в своем пути, а хочешь учить меня. Зачем?

Я ничего не хочу. Мне, как нормальному человеку, будет тебя очень жаль, тем более, что мы хорошо уже знакомы. Жаль мне и твоих жену с сыном, жаль и тебя.

Ну, ты сейчас скажешь, что жаль тебе еще и тысячи таких же девчонок, как Вика, и мальчишек, как Славка, и таких корявых одноножек, как я. И Родину нашу тоже. И что ради них, ради жизни на земле, я должен остаться, и нести свою ношу, и работать, и помогать им, как ты. Правильно?

Лют кивнул.

А мне думаешь их не жалко? Еще как! Всех жалко! И себя больше всех. Только устал я. Немножечко. Умереть хочется, поспать. Лечь, поспать, чтобы ничего-ничего не было.

Это легкий выход.

А зачем мне сложный? Не могу я больше. Запить хотел, только не выходит ничего -- не принимает организм водку, плачу сначала, потом тошнить начинается. Зато похмелье такое, что в сто раз хуже, чем было, да еще и надолго, дня на три. Как мне с башки снять все это?

Никак. Терпи.

Не могу я больше.

Можешь. Ты же не слабее других.

А я хочу быть слабее!

Ты просто ноешь. Не надо.

Лют, а ты никогда не ноешь? Ты счастлив? Только не отвечай «да», я все равно не поверю. Ты, может, и пытаешься таким казаться, но я-то вижу, что ты только притворяешься.

Счастлив? Это что значит? Когда тебе хорошо? Когда радуешься и получаешь наслаждение от жизни? Тогда – нет. Но если за несчастье считать грусть и расстройчивость, больное сердце истерички и слезы с соплями, то я где-то посередине. Я спокоен -- ни весел, ни смурен. Так, я считаю, и нужно жить, счастье и злосчастье придумали поэты. Это, знаешь, как здоровье -- как ты? Здоров ли? Не знаю, у меня ничего не болит. Некогда мне думать о счастье! Я просто живу и мне нравится.

А мне – нет.

Это от безделья. И мысли все твои -- о счастье, о смысле жизни, о том, как же так – от безделья. Живи! Просто живи и работай.

Меня не берут на нормальную работу: я инвалид. А выключатели собирать с дебилами я не пойду. Или в детский сад сторожем. Я все-таки офицер, и с головой у меня все в порядке и лет мне только двадцать пять!

Лют опять вспрыгнул и оперся о костыль.

Подожди секунду, – он поковылял в соседнюю комнату и захлопнул за собой дверь.

Я оглядел зал малого капища (общее, большое, располагалось в лесу), где мы сидели на подкопченных стульчиках с остатками хохломской росписи. Посередине зала возвышался длинный, под потолок, фаллический родовой столб: символ Рода, от которого произошел весь наш народ. На гладкой коже дерева – три глубоких насечки от Лютовского штык-ножа – родовые зарубки, словно корябины трехпалого медведя. Перед чистой стеной, завешанной кумачом, угрюмо вырубленный, хмурился сам Перун, бог Прави, грозы и воинской чести. Голову его венчал острокупольный шлем с кольчужной сеткой. Лют одел своего Перуна в глухой шлем, что закрывал лицо бога до самых скул, в отличие от своих деревянных двойников, вытесанных другими жрецами. Из косых бойниц резной маски, скрепляющей дубовое лицо, неласковыми следами стрел смотрели зрачки. Длинные усы улыбались клыками моржа до панцирной груди. В ладонях с плохо прорезанными пальцами был зажат большой меч. Под ним стоял белый алатырный камень, усыпанный зерном. Сзади на небольшой полке стояли маленькие чурь – фигурки богов, используемые на праздниках и обрядах в их честь -- косматый двурогий Велес с рогом мудрости в руках; пышногрудая Лада; смеющийся Ярило, стриженный под горшок; Макошь с прялкой; Сварог с молотом. С краю воспарил Иисус на кресте. Это была так называемая дань уважения тысячелетней истории христианской Руси, символ согласия и примирения религиозных кон-

фессий, без которого храм бы не позволило открыть Управление по делам религии.

Из комнаты с радиотелефоном в руке прискакал Лют, с трудом удерживая костыль. Он бухнулся на стул и протянул мне трубку:

На! – и добавил многозначительно, – Сергей Иванович.

Да, – ничего не понимая, сказал я в пластмассовые дырочки.

Евгений? – спросил резкий голос.

Да.

Вы какой вуз кончали?

Наш сельхоз. Специальность «Экономика и управление аграрным производством».

Работали где на гражданке?

Да я и не успел нигде особенно. Сельхозпрактика была до войны полгода, в КФХ «Кузнецкая слобода» экономистом.

С бухгалтерией знакомы?

Маленько.

А с кадрами?

С кадрами я не работал, но думаю, что научусь быстро, мы в институте проходили.

А военная специальность?

Заведующий хозяйством.

Ну и отлично. Как раз подходите нам. Завтра диплом, военный билет, ну и там все документы ваши берите и в призывной пункт на Засечной приходите.

Я крякнул и злобно посмотрел на Люта.

Да я как бы отслужил уже свое. В Ледовом прорыве ножку с писккой оставил. Так что...

Товарищ капитан, вы не поняли, извините. Я думал, Лют вам сказал. Я – полковник Гребенюк, областной военный комиссар. Вы, что же, думали, я на

фронт вас... Да нет! Нам как раз работник на капитанскую должность нужен на призывной пункт. И специальность подходит. Вы только ради Рода не подумайте...

Нет, нет, все в порядке, – Лют хихикал, и я погрозил ему пальцем. – Все хорошо, я приду завтра. Спасибо.

Так я и стал работать на призывном пункте, где корячусь и по сей день.

-7-

Собрание проводилось на улице перед храмом. Народу было полно. Я уселся на самую последнюю скамейку и без энтузиазма слушал лекцию жреца Круга Родной Веры. Лют сидел рядом. За эти семь лет он изменился сильнее, чем я: у него стала сильно дергаться уцелевшая щека, оселедец и усы стали гуще, но приобрели совсем серо-седой цвет.

Лектор с пафосным именем Венцеслав был молодой, с длинными сальными волосами, видно, студент какого-нибудь истфила, он долго и скучно рассказывал о празднике осеннего солнцестояния. Был он миниатюрный какой-то, и напоминал мальчика-знайку, невесть зачем напялившего папкину одежду и пришедшего на взрослое собрание. То ли он сам по себе был скучный, то ли думал совсем не о мифологической гибели солнышка. О своей! Последний курс, последние лекции. А потом – на фронт! Видно было за версту, что вступил в КРВ он только для того, чтобы на фронте служить военным жрецом. Это, конечно, прибавит ему шансов выжить. Но рыщущая впереди него трусость скорехонько уберет эти шансы. Окровавленным бойцам веру в Богов он не принесет, нет в его покойных карих глазах огня любви к Родной вере, да и самой веры тоже не было видно. Его слушали с трудом, ожидая, когда же слово возьмет Лют. Из общего настроения было ясно, что Перунов жрец хочет сделать какое-то предложение для помощи фронту, а слышали от него обычно только дельные идеи.

Жрецы городского Круга Родной веры, например, собирали народ на надоевшие экологические акции по собиранию мусора в мешки и разбора завалов. И хотя было ясно, что дело это важное, и что если бы жрецы не проводили свои субботники, весь город бы просто был завален до облаков. Тем более, что жрецы сами служили примером – первыми лезли разбирать самые грязные кучи с огромными пластиковыми мешками. Все, однако, к таким акциям относились как к неприятной обязательке. Мероприятия же, которые придумывал Лют, всегда оказывались какими-то необыкновенно важными и нужными. Даже на совсем штатской должности жреца он оставался военным. Все учебные тревоги для населения, которые он организовывал, всегда пригодились через несколько дней. Из доброй сотни выпускников его подросткового клуба на фронте не погиб почти никто, многие дослужились до офи-

церских погон. Исключение – только братья-близнецы Кузнечиковы, которых разбомбили еще в вагоне, когда они с командой ехали на Северный фронт. Посылки на фронт, сбор которых он придумывал, всегда сильно помогали бойцам, и это было известно.

То же самое можно сказать и про праздники: на обрядах Круга Родной веры обязательно кто-нибудь или из общинников или из гостей напивался, либо просто тупил, и все портилось. У Люта же такого просто не бывало. Причем, даже без того, чтобы он однажды усмирил дебошира, отчего все стали бояться его злить, нет. Просто не было такого и все.

Наконец Венцеслав отложил книжечку в сторону и подвел черту:

- Я кончил, спасибо за внимание. А теперь, собственно, приступим к тому, для чего мы все как бы и собрались. Об этом вам всем расскажет и поведает многоуважаемый всеми жрец Перуна Лют.

Лют встал, поклонился, и начал.

-8-

- Здрaвы будьте, други. Долго ораторствовать не буду. Еще раз повторю о генеральном сражении, которое состоится сразу после Таусеня. Ну, об этом уже несколько раз говорили по телевизору, но если кто не видел или не понял, я лучше повторю. – Он потянул за бечевку, и за спиной у него развернулась карта с отмеченными разноцветными липучками позициями войск. – Итак, на линии Западного фронта, в районе Воронежа 25 сентября состоится решающая битва. Я не буду козырять цифрами, техникой и живой силой, это все можете посмотреть в газетах или на сайте Министерства обороны.

Мы все понимаем, что это не просто решающий бой. Это последний бой, как в прямом, так и в переносном смысле. Наша армия держится на голом энтузиазме, на чуде, словно мир, что, падая в бездну, зацепился за ветку. Но и своры вражеской когорты тоже обескровлены. Все чаще в стане врага раздаются призывы о прекращении братоубийственной войны. Средства, обеспечивающие им военные действия, тоже подходят к концу. Народы враждующих стран устали воевать, всем уже давно понятны истинные цели этой грабительской войны. Да! Ресурсы этих стран давно исчерпаны, а наши земли сразу станут для них сырьевым придатком, а наш народ – рабочими, обслуживающими их. Но я уже начал говорить шершавым языком плаката, а никто этого не любит, простите.

Итак, к делу. Никто не знает, чем этот решающий бой, а солдаты уже дали ему имя – Воронежская мясорубка, кончится. Шансы у всех, в принципе равны. Только у врагов – равнее. У них солдаты сытые, довольные, чистенькие. В их уютных домах их ждут красавицы-жены. У нас – грязные, злые, вшивые бойцы, их дома разбомбили вместе с семьями и идти им некуда. Воевать они будут до конца, до смерти. Кто победит – не знает никто. Ясно одно -- в случае поражения все наши выжившие бойцы будут, скорее всего, убиты. Все мы, кто остался в тылу, станем рабами. Партизанское движение, которое сейчас еще теплится, будет подавлено новыми хозяевами России очень жестоко.

Как мы можем помочь нашим бойцам? – Лют сделал значительную паузу, видимо ожидая, что кто-нибудь ответит на его риторический вопрос. Но все молчали -- помочь было нечем. Все способные к каким-либо действиям и так были на фронте. В тылу оставались только женщины (и то немногие), инвалиды, старики, да совсем зеленая молодежь. Если только предложить что-то типа гитлеровского фольксштурма, когда автоматы в руки взяли сопляки, старики да доходяги. Но это приведет ни к чему иному, кроме как к полной, тотальной гибели всех крох оставшегося русского рода. Ядерное оружие давно было уничтожено. Нечего ответить.

- Итак, прошу внимания. – Лют поднял над головой гербовый документ, усеянный печатями и подписями. – Секундочку. – Он неуклюже надел целой рукой одностекольные очки на резиночке. – Письмо пришло во все храмы, во все города. Написано оно лично Министром пропаганды. Подписали... Ну, тут много: Управление по делам религии, Совет Круга Родной веры, Союз Славяно-Русских общин, Союз языческой традиции, ну, и еще несколько. Я не сразу понял в чем смысл, но потом... Долго очень думал. Не знаю, это правильно или нет. Но потом, уже вот когда сюда пришел, что-то осенило меня. Надо! Я первый написал себя добровольцем, но мне, правда, сразу отказали по политическим соображениям. Хотя, если среди вас, гражданских, доброволец не найдется, то мою просьбу удовлетворят. Итак, нужен доброволец, чтобы принести себя в жертву.

Он выждал мхатовскую паузу, не то ожидая реакции присутствующих, не то что-то забыв. Потом продолжил:

Принести себя в жертву – очень красивый образ. Бойцы жертвуют собой ради конкретики: своих родных, других бойцов и всей страны. А вы способны пожертвовать собой ради победы? – в этот миг он был похож не на Мооровского красноармейца, тычущего пальцем. Больше – на спокойного косаря смерти.

Все молчали. Потом кто-то крикнул, кашляя в хрипе:

Что нужно? Говори, что ты тянешь!

- Я уже сказал. Вы должны обнять смерть. Принести себя в жертву. Буквально. С собой возьмете трубку, водку, руль, ствол – что хотите! Главное – не зря, на сей раз – реально не зря! Жертвенные костры 24 сентября, на именины Огня Сварожича – вспыхнут во всех крупных городах пока еще свободной России. Крови не будет. Все просто: перед шагом на просмоленную ступеньку – жизнь, потом – безвозвратный сон. Да! Не назад! Мир был создан, потому что Род принес себя в жертву: родилось Солнце красное от лица его; юн Месяц от груди его; заря светлая утренняя да темна вечерняя от ясных очей его. Пока и стоит мир, пока держится. Но долго ли он простоит? Покажет все это Воронежская битва.

Вопрос, думаю, прост. Кто-то должен шагнуть на кощную ступеньку. Просто так, совсем не как шахид-камикадзе. Ваша семья за это денег не получит. В газетах вас восхвалять не будут. В ваши убеждения, как у первохристиан, никто не поверит, помнить вас через тыщу лет никто не будет. По-русски все! Эх-ма! Раззудись плечо, размахнись рука! На глухаря!

Жерло не-жизни разверзнуто. Все просто. Жертвенная крада ласково вас ждет! Но кто из вас взойдет на туда? Больно не будет: специальное снадобье, притупляющее боль, мне уже выслали.

Народ долго молчал. Молчал и Лют. Затем он глянул в письмо, выгибая голову и добавил:

- Конечно, встать на костер могут только совсем одинокие люди, старше тридцати лет. Добавлю ритуальные аспекты: уже в октябре Перун уйдет на небо, и заоблачная Сварга закроется до весны. Наш златоусый покровитель будет помогать русским воинам в этой лютой сече. Счастливец, ушедший вместе с огненным ветром на седьмое небо, будет вместе с родными богами бить захватчиков на другой же день.

Народ молчал, и Лют добавил, заканчивая:

Конечно, все это не в принудительном порядке, и вовсе необязательно...

Но я вскочил и прервал его, крикнув писклявым мальчишеским голоском:

Я! Пусть меня пожрет золотое божье пламя! – и никто не захихикал над моим высоким штилем и противным голоском. Голова кружилась, словно в ней что-то уже кипело. Ногти терзали ладони. Слезы уже начинали клокотать под кадыком. Нос щипал. Тишина душила. Лют улыбнулся и еле заметно покачал головой.

-10-

Все мы приносим себя в жертву, даже в мирное, неэкстремальное время. Работавшие на износ родители – своим детям; изнывающие от неудовлетворяемой похоти жены – супругам и наоборот; раздавленные пешеходы и водители – техническому прогрессу; задыхающиеся гипертоники – комфорту и спокойствию; алкоголики, наркоманы, спидозники, женщины на абортах – своим порочным удовольствиям. Мужья кладут на камень-алатырь (похоже на алтарь, да?) семейного покоя цветы, часто зарезанные ими самими.

Я пришел на площадь заутро. Грязные солдаты сколачивали под памятником Ленину огромную ладью. Ефрейтор (ничто не украшает мужчину так, как шрам через все лицо) деловито просмаливал сбитые доски из черного ведерка. Под злые матюги чернюшный татарин-сержантик натягивал на мачте нежный российский стяг. Я отошел на шаги, предусмотренные техникой безопасности и курил, глядя на трон с торчащими гвоздями на самом верху корабля.

- Гвозди-т подбей тама, ...! – крикнул я сержанту. Он как-то сразу признал во мне офицера и молодецкато забил торчащие шляпки обухом топора.

Солнышко уже стало наливать червонным золотом. Стали подтягиваться организаторы и служки. Толстопузый волхв Добромир уже был выпимши. Он покачивался среди всех остальных штатских в своей карей распоясанной рубахе ниже колен. Мне это было безразлично. Я уже попарился в единственной уцелевшей городской бане, грязное шмотье оставил в шкафчике, а сам напялил все чистенькое, надетое только на свадьбу. Сейчас даже под задницу подложил газетку. Может поэтому я и смотрелся на егозливой площади как ленивый проверяющий.

Постепенно стал собираться народ. Какой-то зритель даже припер вместе с сыном длинную школьную скамью. За час до начала обряда пришел Лют. Он приехал на ЗИЛке, из кузова которого солдатики выкатили по сходням

две полные цистерны. Пока они поливали ладью маслом и устилали ее борта хворостом, Лют заметил меня, подскакал к скамейке и плюхнулся рядом.

Как она? – спросил он, неторопливо закуривая.

Потихоньку, – ответил я, вытягивая у него из пачки плоскую сигаретину.

Не боишься?

Боюсь, что больно будет – заору. Нехорошо выйдет.

Везет. – Лют развалился на спинке и отшвырнул в сторону костыль. – Хату отписал кому?

Кому. В фонд общины Перуна! Здорово? Продашь – тыщу мелкашек купишь. Или сто тысяч перчаток боксерских.

Лют несмешливо засмеялся:

Или миллиард пулек для мелкашки. Ладно. Дурман будешь пить?

Пожалуй.

Могу и по вене добавить. Только тут чистая химия, незаговоренная.

Давай. А крышу не снесет?

Это уж я не знаю.

Народ подходил и подходил, площадь заполнялась впритык. Только к нашей лавке никто не подступался, словно задыхаясь от смерти, окутавшей меня.

Везет! – еще раз повторил Лют. Он долго смотрел в сторону. На небо. Оно было ласково чистым. Облака были где-то далеко-далеко, чистили дождями клоаки фронта. Лют, не скрываясь, плакал, так же безмятежно улыбаясь. Губы его шевелились. Я был спокоен, тоже улыбался и хлопал себя по пустой ширинке.

Поехали, – сказал Лют, и вскочил, быстро вытирая слезы. Толпа расступилась. Я пошел за ним к ЗИЛу. Солдаты устанавливали за нарощенными бортами аппаратуру. Лют быстро сбросил через голову футболку. – Давай, время. – Тут нутрь моих грудков забились. Руки остыли и стали мокрыми. Сердцу стало больно. Отсутствующие яйца по старой привычке сжались. Площадь уже была полна, забивались улицы. На балконах прилегающих домов выползали голопузые калеки. Прямо передо мной на каталке выкатили камуфляжного самовара – без рук, без ног, и с наивным туповатым взглядом. Девочка, приперевшая его мне под ноги, была еще дебильнее инвалида.

Лют бросил мне чистую вышитую рубаху-луду, но я отказался. Остался в своей свадебной сорочке, только снял пиджак, а потом и жилетку (в ней я был похож на жида). Тут, словно на землетрясении, меня совсем забил озноб. Лют напялил свою червонную однурукую рубаху, подпоясался. Потом извлек из своего рюкзака ампулы и огромный стеклянный шприц.

– Качай руку. СПИДом заболеть не боишься? – Я засмеялся вместе с ним. Обжал бицепс расстегнутым рукавом и задергал кулаком. Когда в вену вошла дурь, долго ничего не чувствовалось. Потом, когда меня уже стали поливать из шланга вонючим маслом, как-то расслабило, и стало похоже на спокойную пьянь, как будто напился хорошего вина. Две красивые девушки в сарафанах из Круга Родной веры под руки подвели меня к трону на вершине ладьи и усадили на шелковую думку. Народ странно молчал. Из рюкзака вынули и разложили вокруг меня и мачты остатки моего имущества помимо грязной одежды: трость, огромный портрет меня, Вики и Славки, блок сигарет, стопочку книг. Призывной пункт презентовал гигантскую бутылку дешевой водки (хотя я никогда не страдал злоупотреблением алкоголя). Двое стройбатовцев лили вокруг мачты, о которую я оперся спиной, масло, щедро умащивая мне ботинки. Масло было теплым и густым. Страх стал интересным, словно перед соревнованиями в юности. С ладьи отлично было видно аж полгорода, люди казались смешными и ненужно-маленькими, даже хотелось их схватить, поднести к лицу и тщательно рассмотреть.

Подскакал Лют и сунул мне фляжку. Я глотнул. Это был очень густой настоящий мед. Тело расслабилось.

Как ты?

Хорошо. Чего-то меня расперло. Я же раньше сначала не хотел ни пить, ни это. А тут как в дупель пьяный. Что ж это за жертва?

Лют засмеялся.

Ничего. Нормально все будет. – Внизу забили барабаны.

-11-

То, что говорил внизу волхв Круга Родной веры из грузовика, было почти не слышно, только эхо торкалось между коробчатым домами. Лют валялся передо мной на дощатой неструганой палубе и глотал из солдатской фляги мед.

Жень! Давай я с тобой полечу.

Я покачал головой.

Ай-яй-яй! А слова как же? Про Родину? Кто же Перуна будет славить?

Лют улыбался и плакал.

Ладно. Полетели. А только твое начальство как это воспримет?

А как ты многократным шприцом мазался? Поздно уже будет.

Я засмеялся. Было очень легко и покойно.

Лют! А ты себе не колол дурь?

Не-а! И так дурной.

Было тепло. Бабье лето перло. Солнышко устало смотрело на город, окруживший ладью, в центре которой валялся Лют, а за ним на троне сидел я.

Тут город заревел. Я высунулся через борт. Ор захлебнулся и стало слышно эхо волхва:

Евгений Черкасов!!

Лют многозначительно кивнул, и я поднялся.

- Говори! – зарокотал родновер. Площадь взорала и, только я качнулся, утихла.

- Ничего не имеет значения. Главное – жизнь, – буднично и не торжественно сказал я. Вся моя жизнь упрямо не неслась перед глазами. Внизу два молодых жреца в белых рубахах уже дымили копотью с факелов. Сказать почему-то стало нечего. Все вдруг стало бессмысленным: и я сам, и Вика со Славкой, и Родина, и растопырившийся крабом одноногий Лют. Я замолчал. Площадь бесшумно дышала. С факелов капало. Ноги у меня задрожали. Пауза затягивалась. Волхв на грузовике замотал головой. На часах передо мной на здании бывшего Сбербанка стрелки сливались на полдень. Лют хлебал из фляги, обшитой брезентом. Над площадью летал белый голубь.

Да будет победа! – нескладно заревел я, разрывая горло. – Пали!

И молодой жрец, не дожидаясь команды начальника, изо всех сил швырнул факел в высокий борт ладьи.

- Пали! – заорал я. – Да озарит нас жизнь!

Второй жрец метнул огонь. Пламя вспыхнуло медленно, но очень высоко. Жарко стало моментально. Кашляя через дым, я опять заорал:

Я вижу белого всадника! Отче Перун! Возьми меня!

По России во всех городах зашлись жертвенные костры. Что орали счастливыцы, обуреваемые дымом и нестерпимо солнечным племенем? Что отвечал им великий Перун, видя их и войска, неторопливо готовящиеся к завтрашней бойне?

-12-

Всадника не было. Видел я только девушку с ребенком, прорывавшихся сквозь первые ряды. Это были Вика и Славка. Их не было тогда дома, вдруг догадался я. Лют улыбался. Дым закрывал солнце, но через копоть я вдруг увидел, как ко мне тянут крепкую руку в боевой кожаной рукавице.

SpellCheck: Ольга Саймон, 2008 г.

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»



Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь на рассылку --> [Новости сайта Велесова Слобода.](#)